

Бакунин Михаил.

Федерализм, социализм и антитеологизм

Господа!

Дело, занимающее нас сегодня, это организовать и окончательно упрочить Лигу Мира и Свободы на основе принципов, сформулированных предшествующим распорядительным комитетом и принятых первым конгрессом. Эти принципы составляют отныне нашу хартию, обязательную основу всей нашей последующей деятельности. Мы не имеем права отнять от них хотя бы малейшую часть, но мы можем и даже обязаны их развивать.

Выполнение этой обязанности представляется в настоящее время тем более настоятельным, что, как всем известно, вышеупомянутые принципы были сформулированы наскоро, под давлением тяжелого женевского гостеприимства... Мы набросали их, так сказать, между двумя грозами, мы были вынуждены смягчить выражения, чтобы избежать большого скандала, который мог бы привести к полному уничтожению нашего дела.

Ныне, когда благодаря более искреннему и широкому гостеприимству города Берна мы свободны от всякого местного, внешнего давления, мы должны восстановить эти принципы во всей их целостности, отбросив всякую двусмысленность как недостойную нас, недостойную великого дела, которое мы призваны начать. Умолчание, полуправда, урезанные мысли, любезные смягчения и уступки трусливой дипломатии — все это непригодно для совершения великих дел: они требуют возвышенного сердца, ясного и твердого ума, четко поставленной цели и неукротимой смелости. Господа, мы начали великое дело, поднимемся же на его высоту. Оно будет великим или смешным, середины быть не может, и чтобы оно было великим, необходимо по меньшей мере, чтобы благодаря нашей смелости и искренности мы тоже стали великими.

Не академический разбор принципов предлагаем мы теперь вашему вниманию. Мы не забываем, что собрались здесь главным образом, чтобы согласовать политические средства и меры, необходимые для осуществления нашего дела. Но мы знаем также, что в политике не может быть честной и полезной практической деятельности без теории и ясно определенной цели. В противном случае, сколь мы ни воодушевлены самыми широкими и свободолюбивыми чувствами, мы могли бы прийти к совершенно противоположным практическим результатам: мы могли бы начать с республиканскими, демократическими и социалистическими убеждениями, а кончить как бисмаркианцы или как бонапартисты.

Сегодня мы должны сделать три вещи:

1. Определить условия и подготовить элементы нового Конгресса.
2. Организовать нашу Лигу, насколько это будет возможно, во всех странах Европы, распространить ее даже, и это нам кажется существенным, на Америку и учредить в каждой стране национальные комитеты и провинциальные подкомитеты, предоставив каждому из них законную, необходимую автономию и подчинив их всех иерархически Центральному комитету в Берне. Дать этим комитетам полномочия и необходимые инструкции для пропаганды и принятия новых членов.
3. Для этой пропаганды основать газету.

Не очевидно ли, что для того, чтобы хорошо выполнить эти три вещи, мы должны предварительно выработать принципы, которые бы определили, уже без всякой двусмысленности, природу и цель Лиги. Эти принципы, с одной стороны, вдохновят и направят нашу как письменную, так и устную пропаганду, а с другой стороны, послужат условиями и основой при принятии новых членов. Последний пункт, господа, представляется нам чрезвычайно важным. Ибо будущее нашей Лиги полностью зависит от склонностей, идей и тенденций как политических и социальных, так и экономических и нравственных, от этой массы новых людей, для которых мы откроем наши ряды. Образую институт в высшей степени демократический, мы не будем претендовать на управление нашим народом, т. е. массой наших приверженцев, сверху донизу, и как только мы организуемся, мы никогда не позволим себе навязывать им авторитарно наши идеи. Напротив, мы хотим, чтобы все наши провинциальные подкомитеты и национальные комитеты, вплоть до центрального или интернационального комитета, избирались снизу доверху голосованием наших приверженцев во всех странах и поэтому стали верным и послушным выражением их чувств, идей и воли. Но ныне, именно потому, что мы решили подчиняться во всем, что будет касаться общего дела Лиги, желаниям большинства, ныне, пока мы находимся еще в малом числе, не должны ли мы, если мы не хотим, чтобы наша Лига когда-либо уклонилась от своей первоначальной идеи и от направления, приданного ей ее инициаторами, не должны ли мы принять меры, чтобы никто, имеющий намерения, противоположные этой идее и этому направлению, не смог сделаться ее членом? Не должны ли мы организовать таким образом, чтобы огромное большинство наших приверженцев оставалось всегда верным вдохновляющим нас сегодня-чувствам, и установить такие правила приема членов, чтобы даже при смене личного состава наших комитетов дух Лиги остался неизменным?

Мы можем достигнуть этого не иначе, как выработав и определив наши принципы столь ясно, чтобы никто, будучи в том или ином отношении против них, не смог проникнуть в наши ряды.

Нет сомнения, что если мы будем избегать столь ясно выражать действительный характер своих принципов, число наших приверженцев может сделаться очень большим. Мы могли бы даже в таком случае, как нам предлагал делегат Базеля г. Шмидлин, принять в наши ряды много военных и священников, почему бы и не жандармов? — или по примеру Лиги Мира, основанной в Париже под высоким императорским покровительством гг. Мишелем Шевалье и Фредериком Пасси, нижайше просить некоторых знаменитых прусских, австрийских или

русских принцесс соблаговолить принять звание почетных членов нашей ассоциации. Но, как говорит пословица, кто многих обнимает, тот плохо прижимает; все эти драгоценные присоединения стоили бы нам нашего полного уничтожения и среди массы двусмысленностей и фраз, отравляющих в настоящее время общественное мнение Европы, стали бы еще одной плохой шуткой.

С другой стороны, очевидно, что если мы будем открыто провозглашать свои принципы, число наших приверженцев будет ограничено, но, по крайней мере, это будут серьезные люди, на которых можно будет рассчитывать, — и наша искренняя, просвещенная, серьезная пропаганда будет не отравлять, а нравственно оздоравливать публику.

Итак, посмотрим, каковы принципы нашей новой ассоциации? Она называется Лигой Мира и Свободы. Это уже много; этим мы отличаемся от всех тех, которые стремятся к миру любой ценой, даже ценой свободы и человеческого достоинства. Мы отличаемся также и от английского общества мира, которое, абстрагируясь от всякой политики, воображает, что при современном устройстве государств в Европе мир возможен. В противоположность этим ультрапацифистским тенденциям парижского и английского обществ, наша Лига объявляет, что она не верит в мир и что она желает мира лишь при высшем условии свободы.

Свобода — это возвышенное слово, означающее великое дело, которое никогда не перестанет воспламенять сердца всех живых людей. Но оно требует точного определения. Иначе мы не избежим двусмысленности, и в наших рядах могут оказаться бюрократы — сторонники гражданской свободы, монархисты-конституционалисты, либеральные аристократы и буржуа, все те, кто в той или иной степени является защитником привилегий и естественным врагом демократии. Они могут составить большинство среди нас под предлогом, что они тоже любят свободу.

Чтобы избежать последствий этого досадного недоразумения, Женевский конгресс объявил, что он желает «основать мир на демократии и свободе», отсюда следует, что для того, чтобы стать членом нашей Лиги, надо быть демократом. Значит, исключаются все аристократы, все сторонники какой-либо привилегии, какой-либо монополии или какой бы то ни было политической исключительности, ибо слово «демократия» означает не что иное, как управление народом посредством народа и для народа, понимая под этим последним наименованием всю массу граждан — а в настоящее время надо прибавить и гражданок, — составляющих нацию.

В этом смысле мы все, конечно, демократы. Но мы должны в то же время признать, что этот термин, «демократия», недостаточен для точного определения характера нашей Лиги и что, рассматриваемый в отдельности, он может, так же как термин «свобода», дать повод к кривотолкам. Разве мы не видели, как в Америке еще в начале этого века плантаторы, рабовладельцы Юга и их приверженцы в Северных Штатах называли себя демократами? А современный цезаризм с его мерзкими последствиями, нависший как страшная угроза над всем, что зовется в Европе человечностью, не именует ли он себя тоже демократичным? И даже московский и санкт-петербургский империализм, это Государство без фраз, этот идеал всех централизованных военных и бюрократических держав, не во имя ли демократии он раздавил недавно Польшу?

Очевидно, что демократия без свободы не может служить нам знаменем. Но что такое демократия, основанная на свободе, если не Республика? Соединение свободы с привилегиями создает монархический конституционный режим, но ее соединение с демократией может осуществиться лишь в Республике. Из осторожности, которой мы не одобряем. Женевский конгресс нашел нужным воздержаться в своих резолюциях от слова «республика». Но, объявляя свое желание «основать мир на демократии и свободе», он невольно показал себя республиканцем. Итак, наша Лига должна быть одновременно демократической и республиканской.

И мы думаем, что все мы здесь республиканцы в том смысле, что, движимые беспощадной логической последовательностью, предостерегаемые столь же спасительными, как и жестокими уроками истории, всем опытом прошлого и в особенности событиями, которые омрачили Европу после 1848 года, и теми опасностями, которые ей угрожают сегодня, мы все пришли к одному убеждению: монархические институты несовместимы, с царством мира, справедливости и свободы.

Что касается нас, господа, то мы как русские социалисты и как славяне считаем своей обязанностью открыто заявить, что для нас слово «республика» не имеет другого значения, кроме значения чисто отрицательного: оно означает свержение или уничтожение монархии. Слово это не только не способно нас воспламенить, но, напротив, всякий раз, как нам представляют республику как положительное, серьезное решение всех злободневных вопросов, как высшую цель, к достижению которой мы должны направлять все наши усилия, нам хочется протестовать.

Мы ненавидим монархию всем сердцем; мы не хотим ничего большего, чем ее свержения в Европе и во всем мире, и мы убеждены, как и вы, что ее уничтожение есть условие *sine qua non* освобождения человечества. С этой точки зрения мы — искренние республиканцы. Но мы не думаем, что достаточно свергнуть монархию, чтобы освободить народы и дать им мир и справедливость. Напротив, мы твердо убеждены, что крупная военная, бюрократическая, политически централизованная республика может стать и непременно станет державой, стремящейся к внешним завоеваниям, к угнетению внутри страны, что она будет неспособна обеспечить своим подданным, даже если те будут называться гражданами, благоденствие и свободу. Разве мы не видели великую французскую нацию дважды объявляющей себя демократической республикой и оба раза теряющей свою свободу и дающей себя вовлечь в завоевательные войны?

Припишем ли мы, подобно многим другим, эти плачевные падения легкомысленному темпераменту и историческим дисциплинарным привычкам французского народа, который, как утверждают его клеветники, способен завоевать свободу внезапным сокрушительным порывом, но не умеет пользоваться ею и применять ее на практике?

Мы не можем, господа, присоединиться к этому осуждению целого народа, одного из самых просвещенных народов Европы. Мы убеждены, что если Франция дважды теряла свободу, а демократическая республика там превращалась в военную диктатуру и в военную демократию, то в этом повинен не характер ее народа, а ее политическая централизация. Централизация эта, издавна подготовленная французскими королями и государственными

людьми, воплотившаяся позже в человеке, названном льстивой придворной риторикой Великим Королем, затем повергнутая в бездну позорными деяниями одряхлевшей монархии, конечно, погибла бы в грязи, если бы Революция не подняла ее своей могучей рукой. Да, странная вещь эта великая революция, впервые в истории провозгласившая свободу не только гражданина, но и человека: став наследницей монархии, которую она убила, она воскресила в то же время отрицание всякой свободы — централизацию и всемогущество Государства.

Вновь созданная Учредительным собранием (правда, против нее боролись, но почти безуспешно, жирондисты), эта централизация была завершена Национальным Конвентом. Робеспьер и Сен-Жюст были ее истинными реставраторами: ничто не было забыто в новой правительственной машине, ни даже Верховное Существо вместе с культом Государства. Она ожидала лишь ловкого машиниста, чтобы явить удивленному миру все могущество притеснения, которым ее одарили бездумные устроители... и — нашелся Наполеон. Итак, эта Революция, которая вначале была вдохновлена лишь любовью к свободе и человечности, одним тем, что поверила в возможность примирения их с централизацией Государства, убила себя, убила их и не породила вместо них ничего, кроме военной диктатуры. Цезаризма.

Не очевидно ли, господа, что для того, чтобы спасти в Европе свободу и мир, мы должны противопоставить этой чудовищной и подавляющей централизации военных, бюрократических, деспотических, конституционно-монархических или даже республиканских государств великий, спасительный принцип Федерализма, принцип, чье блистательное проявление явили нам между прочим последние события в Соединенных Штатах Северной Америки.

С этих пор для всех истинно желающих освобождения Европы должно быть ясно, что, сохраняя все свои симпатии к великим социалистическим и гуманистическим идеям, провозглашенным Французской Революцией, мы должны отбросить ее политику Государства и решительным образом воспринять североамериканскую политику свободы.

Федерализм

Мы рады заявить, что Женевский конгресс единодушно приветствовал этот принцип. Сама Швейцария, которая, к слову сказать, так успешно применяет его теперь на практике, присоединилась к нему без всякого ограничения и приняла его со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, в резолюциях конгресса этот принцип был очень плохо сформулирован и упомянут лишь косвенным образом, во-первых, по поводу Лиги, которую мы должны основать, и ниже по поводу журнала, который мы должны издавать под заглавием: «Соединенные Штаты Европы». Между тем, по нашему мнению, он должен был бы занять первое место в нашей декларации принципов.

Это весьма обидный пропуск, который мы должны поспешить заполнить. Согласно с единодушным мнением Женевского конгресса мы должны провозгласить:

1. Что для того, чтобы свобода, справедливость и мир восторжествовали в международных отношениях Европы, для того, чтобы сделать невозможной гражданскую войну между различными народами, составляющими европейскую семью, есть только одно средство: образование Соединенных Штатов Европы.
2. Что Штаты Европы не могут быть образованы из государств в том виде, в каком они сложились сейчас, по причине чудовищного неравенства их сил.
3. Что пример скончавшейся Германской конфедерации доказал неоспоримым образом, что конфедерация монархий — это насмешка, что она бессильна гарантировать населению как мир, так и свободу.
4. Что ни одно централизованное, бюрократическое и тем самым военное государство, называясь оно даже республикой, не сможет серьезным и искренним образом войти в интернациональную конфедерацию. По своей конституции, которая всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно неизбежно будет постоянным призывом к войне, угрозой существованию соседних стран. Основанное существенным образом на последующем акте насилия, на завоевании или на том, что в частной жизни называется кражей со взломом, — акте, благословленном церковью любой религии, освященном временем и превратившемся, таким образом, в историческое право, — и опираясь на это божеское освящение торжествующего насилия как на исключительное и высшее право, всякое централистское государство считает для себя возможным абсолютное отрицание прав всех других государств, признавая их в заключенных с ними договорах только в политических интересах или по немогущности.
5. Что все приверженцы Лиги должны будут, следовательно, направлять все свои усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить старую организацию, основанную сверху донизу на насилии и авторитарном принципе, новой организацией, не имеющей иного основания, кроме интересов, потребностей и естественных влечений населения, ни иного принципа, помимо свободной федерации индивидов в коммуны, коммун в провинции^[1], провинций в нации, наконец, этих последних в Соединенные Штаты сперва Европы, а затем всего мира.
6. Следовательно, полный отход от всего, что называется историческим правом государств; все вопросы о естественных, политических, стратегических и торговых границах должны отныне считаться принадлежащими к древней истории и решительно отвергаться всеми приверженцами Лиги.
7. Признание абсолютного права каждой нации, большой или малой, каждого народа, слабого или сильного, каждой провинции, каждой коммуны на полную автономию при одном лишь условии, чтобы их внутреннее устройство не являлось угрозой и не представляло опасности для автономии и свободы соседних земель.
8. Если страна вошла в состав какого-либо государства, даже если она присоединилась добровольно, отсюда никак не следует, что она обязана оставаться в его составе всегда. Никакое вечное обязательство не может быть допущено человеческой справедливостью, единственной, с которой мы считаемся, и мы никогда не признаем иных прав или иных обязанностей, кроме тех, которые основаны на свободе. Право свободного присоединения, и равно свободного отделения, есть первое и самое важное из всех политических прав, без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией.

9. Из всего вышеизложенного следует, что Лига должна открыто осудить всякий союз той или иной национальной фракции европейской демократии с монархическими государствами, даже если бы этот союз имел целью вернуть независимость или свободу угнетенной стране: такой союз, могущий привести лишь к разочарованиям, был бы в то же время изменой делу революции.
10. В противоположность этому Лига, именно потому, что она Лига мира, и именно потому, что она убеждена, что мир не может быть завоеван и основан иначе, как на самой тесной и полной солидарности народов на началах справедливости и свободы, должна громко выразить свое сочувствие всякому народному бунту против любого угнетения, внешнего или внутреннего, лишь бы это был бунт во имя наших принципов и в политических и экономических интересах народных масс, а не амбициозное намерение основать могущественное Государство.
11. Лига будет вести беспощадную войну со всем, что называется славой, величием и могуществом государств. Всем этим ложным и вредоносным идолам, которым были принесены в жертву миллионы людей, мы противопоставим славу человеческого разума, проявляющегося в науке, и всеобщего процветания, основанного на труде, справедливости и свободе.
12. Лига признает национальность как естественный факт, имеющий бесспорное право на свободное существование и свободное развитие, но не как принцип, ибо всякий принцип должен обладать всеобщностью, а национальность — это лишь отдельный, исключительный факт. Так называемый принцип национальности, каким он представляется в наши дни правительствами Франции, России и Пруссии и даже многими немецкими, польскими, итальянскими и венгерскими патриотами, является лишь отвлекающим средством, которое реакция противопоставляет духу революции: принцип в высшей степени аристократический по своей сущности, вплоть до презрения к диалектам народов, не имеющих своей письменности, молчаливо отрицающий свободу провинций и реальную автономию коммун и поддерживаемый во всех странах не народными массами, чьими реальными интересами он систематически жертвует ради так называемого общего блага, которое всегда является лишь благом привилегированных классов, — этот принцип не выражает ничего другого, кроме пресловутых исторических прав и амбиций государств. Итак, право национальности всегда будет рассматриваться Лигой лишь как естественное следствие высшего принципа свободы, и оно перестанет быть правом как только окажется или против свободы, или даже просто вне свободы.
13. Единство есть цель, к которой непреодолимо стремится человечество. Но единство становится фатальным, разрушает просвещение, достоинство и процветание индивидуумов и народов всякий раз, как оно образуется вне свободы, или путем насилия, или под воздействием какой-либо теологической, метафизической, политической или даже экономической идеи. Патриотизм, стремящийся к единству помимо свободы, — это плохой патриотизм. Он всегда причиняет вред интересам народа и подлинным интересам страны, которую он якобы хочет возвысить и которой хочет служить, будучи, зачастую помимо воли, другом реакции и врагом революции, т. е. освобождения народов и людей. Лига может признать лишь одно единство: то, которое свободно образуется через федерацию автономных частей в одно целое, с тем чтобы это последнее, не будучи больше отрицанием частных прав и интересов, кладбищем, где насильственно хоронят всякое местное процветание,

стало, напротив, подтверждением и источником всякой автономии и процветания. Итак, Лига будет всеми силами бороться против всякой религиозной, политической, экономической и общественной организации, которая не будет всецело проникнута этим великим принципом свободы: без него нет ни просвещения, ни справедливости, ни процветания, ни человечности.

Таковы, господа, по нашему и, без сомнения, также по вашему мнению, необходимое содержание и необходимые следствия великого принципа Федерализма, открыто провозглашенного Женевским конгрессом. Таковы непреложные условия мира и свободы.

Непреложные — да, но единственные ли? — Не думаем.

Штаты Юга в великой республиканской конфедерации Северной Америки были с момента провозглашения независимости республиканских Штатов преимущественно демократичными^[2] и федералистскими, вплоть до желания отделиться. И все же они в последнее время вызвали осуждение защитников свободы и человечности во всем мире и своей несправедливой и святотатственной войной против республиканских Штатов Севера чуть было не разрушили и не уничтожили самую прекрасную политическую организацию из всех, когда-либо существовавших в истории. В чем причина такого странного факта? Была ли эта причина политической? Нет, она всецело социальная. Внутреннее политическое устройство Южных Штатов было даже во многих отношениях более совершенным, являло собой большую свободу, чем устройство Северных Штатов. Только в этом устройстве было одно черное пятно, как и в республиках древнего мира: свобода граждан была основана на насильственном труде рабов. Этого черного пятна было достаточно, чтобы прекратить всякое политическое существование этих Штатов.

Граждане и рабы — таков был антагонизм древнего мира, как и рабовладельческих государств нового мира. Граждане и рабы, т. е. принужденные работники, рабы если не по праву, то на деле, — вот антагонизм современного мира. Подобно тому, как древние государства погибли от рабства, так и современные государства погибнут от пролетариата.

Напрасны старания утешиться мыслью, что это антагонизм скорее фиктивный, чем действительный, или что невозможно провести линию раздела между имущими и неимущими классами, так как эти классы переходят один в другой посредством множества промежуточных и неуловимых оттенков. В естественном мире также не существует линии раздела; так, например, в восходящем ряду существ невозможно указать точку, где кончается растительное и начинается животное царство, где кончается животное царство и начинается человечество. Тем не менее, существует вполне реальное различие между растением и животным, между животным и человеком. Так же точно в человеческом обществе, несмотря на промежуточные звенья, делающие незаметным переход от одного политического и социального положения к другому, различие между классами вполне определено, и всякий сумеет различить дворянскую аристократию от финансовой аристократии, крупную буржуазию от мелкой буржуазии, а эту последнюю от фабричных и городских пролетариев; так же точно, как крупного землевладельца, рантье, крестьянина-собственника, собственноручно обрабатывающего землю, фермера от простого деревенского пролетария.

Все эти различные политические и социальные реалии — сводятся в настоящее время к двум диаметрально противоположным основным категориям, естественным врагам друг для друга: политические[3] классы, состоящие, из лиц, имеющих привилегии в отношении как земли, так и капитала, или даже только буржуазного образования[4], и рабочие классы, обделенные как капиталом, так и землей, и лишенные всякого образования и воспитания.

Надо быть софистом или слепым, чтобы отрицать пропасть, разделяющую эти два класса. Подобно древнему миру, наша современная цивилизация со сравнительно небольшим числом привилегированных граждан основана на принудительном труде (к которому понуждает голод) громадного большинства населения, обреченного на невежество и грубость.

Напрасны также старания уверить себя, что эту пропасть можно уничтожить простым распространением просвещения в народных массах. Прекрасное дело основывать народные школы, но надо спросить себя, может ли человек из народа, перебивающийся изо дня в день и кормящий свою семью работой своих рук, лишенный сам образования и досуга и вынужденный убивать и отуплять себя работой, чтобы обеспечить свою семью хлебом на завтрашний день, — надо спросить себя, может ли такой человек хотя бы помышлять, желать, не говоря уж о том, чтобы иметь возможность, отправить своих детей в школу и содержать их во время обучения. Не будет ли он нуждаться в помощи их слабых рук, их детского труда, чтобы обеспечить все потребности семьи? Достаточно много будет и того, что он пойдет на жертву и отдаст детей в школу на год или на два, с трудом выкраивая им время, чтобы они могли научиться читать, писать, считать, с тем, чтобы их ум и сердце были отравлены христианским катехизисом, который умело и щедро преподносится в официальных народных школах всех стран. Сможет ли когда-нибудь это жалкое образование поднять рабочие массы до уровня буржуазного образования? Будет ли когда-нибудь заполнена пропасть?

Очевидно, что этот столь важный вопрос народного образования и воспитания зависит от решения другого, гораздо более трудного вопроса о коренном изменении нынешних экономических условий рабочих классов. — Возвысьте условия труда, отдайте труду все, что по справедливости ему принадлежит, и тем самым предоставьте народу спокойную уверенность, достаток, досуг, и тогда, поверьте, он займется своим образованием и создаст цивилизацию более широкую, здоровую, более возвышенную, чем ваша.

Напрасны и старания убедить себя вслед за экономистами, что улучшение экономического положения рабочих классов зависит от общего прогресса промышленности и торговли в каждой стране и от их полного освобождения от опеки и покровительства государств. Свобода промышленности и торговли — это, конечно, великая вещь, одна из главных основ международного союза всех народов мира. Сторонники свободы, всякой свободы, мы должны быть сторонниками и этой. Но, с другой стороны, мы должны признать, что покуда будут существовать современные государства, покуда труд будет рабом собственности и капитала, эта свобода, обогащая ничтожную горстку буржуа в ущерб огромному большинству населения, приведет лишь к одному: еще больше расслабит и развратит малое число привилегированных, увеличит нищету, недовольство и справедливое возмущение

рабочих масс и тем самым приблизит час разрушения государств.

Англия, Бельгия, Франция и Германия являются, несомненно, теми европейскими странами, где торговля и промышленность пользуются сравнительно большей свободой и которые достигли самой высокой степени развития. И это именно те самые страны, где пауперизм чувствуется наиболее жестоким образом, где пропасть между собственниками и капиталистами, с одной стороны, и рабочими классами — с другой, увеличилась как ни в одной другой стране. В России, в скандинавских странах, в Италии, в Испании, где торговля и промышленность мало развиты, люди редко умирают от голода, разве только по случаю какого-либо необычайного бедствия. В Англии смерть от голода обычное явление. От голода умирают не единицы, а тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Не очевидно ли, что при том экономическом положении, которое царит в настоящее время во всем цивилизованном мире, — свобода и развитие торговли и промышленности, удивительные приложения науки к производству и даже сами машины, имеющие целью освободить работника, облегчая труд человека, — что все эти изобретения, весь этот прогресс, которым справедливо гордится цивилизованный человек, нисколько не улучшают положение рабочих классов, а наоборот, ухудшают его и делают еще более невыносимым.

Только Северная Америка является в значительной степени исключением из этого правила. Но это исключение не опровергает правило, а подтверждает его. Если рабочие там лучше оплачиваются, чем в Европе, если никто там не умирает от голода, если в то же время классовый антагонизм там еще почти не существует, если все трудящиеся — граждане и если вся масса граждан составляет именно единое целое, наконец, если хорошее начальное и даже среднее образование широко распространено там в массах, то все это следует в значительной мере приписать, конечно, тому традиционному духу свободы, который первые колонисты принесли из Англии: рожденному, испытанному, окрепшему в великой религиозной борьбе, этому принципу индивидуальной независимости и самоуправления коммун и провинций — self-government способствовало еще то редкое обстоятельство, что, перенесенный на неосвоенные земли, он был свободен от духовного гнета прошлого и мог, таким образом, создать новый мир, мир свободы. А свобода — это великая волшебница, она наделена такой удивительной творческой силой, что, вдохновляемая ею одной, Северная Америка менее чем в столетие смогла достичь, а ныне и превзойти цивилизацию Европы. Но не надо обманываться: этот удивительный прогресс и столь завидное благополучие обязаны своим существованием в огромной мере важному преимуществу, которое имеет Америка, равно как и Россия: мы хотим сказать о громадных просторах плодородной земли, которая остается необработанной за недостатком рабочих рук. По крайней мере, до сих пор это великое пространственное богатство было почти бесполезно для России, ибо мы никогда не обладали свободой. Иначе обстояло дело в Северной Америке, которая благодаря свободе, подобной которой не существует больше нигде, привлекает каждый год сотни тысяч энергичных, трудолюбивых и умных колонистов и благодаря этому богатству может их принять в свое лоно. Тем самым одновременно отодвигается проблема пауперизма и момент постановки социального вопроса: рабочий, не находящий работы или недовольный заработком, который ему предоставляет капитал, всегда может, в крайности, эмигрировать на far west чтобы возделывать там какую-нибудь дикую незанятую землю.

Эта возможность, всегда, за неимением лучшего, открытая для всех американских рабочих, естественно поддерживает там заработную плату на достаточной высоте и предоставляет каждому независимость, какой не знает Европа. Таково преимущество, но вот и недостаток: дешевизна промышленных продуктов зависит главным образом от дешевизны труда, и поэтому американские фабриканты в большинстве случаев не в состоянии конкурировать с европейскими фабрикантами; отсюда вытекает необходимость протекционистского тарифа для промышленности Северных Штатов. Но это привело в первую очередь к созданию массы искусственных производств и, в особенности, к притеснению и разорению непромышленных Южных Штатов, что заставило их стремиться к отделению; к скоплению, наконец, в таких городах, как Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон и многих других, массы рабочих пролетариев, которые постепенно начинают попадать в положение, аналогичное положению рабочих в крупных промышленных государствах Европы. — И мы действительно видим, что социальный вопрос выдвигается в Штатах Севера, подобно тому, как он встал много раньше у нас.

Итак, мы вынуждены признать как общее правило, что в нашем современном мире, если и не так всецело, как в древнем мире, цивилизация малого числа основана на принудительном труде и относительном варварстве громадного большинства. Было бы несправедливо сказать, что этот привилегированный класс чужд труда; напротив, в наши дни его члены много работают, число совершенно бездеятельных заметно уменьшается, труд начинают уважать в этой среде; ибо наиболее благополучные понимают сегодня, что для того, чтобы быть на уровне современной цивилизации, для того хотя бы, чтобы быть в состоянии пользоваться своими привилегиями и сохранить их, надо много трудиться. Но между трудом зажиточных и рабочих классов та разница, что труд первых оплачивается в значительно большей пропорции, чем труд вторых, и потому оставляет привилегированным досуг, это наивысшее условие развития человека, как интеллектуального, так и нравственного, условие, никогда не существовавшее для рабочих классов. Кроме того, труд, которым занимаются в мире привилегированных, почти исключительно умственный, то есть работа воображения, памяти и мысли; между тем как труд миллионов пролетариев — это труд физический и зачастую, как, например, на всех фабриках, это труд, включающий в работу не всю мускульную систему человека, а развивающий лишь какую-нибудь часть ее в ущерб всем остальным, труд, совершаемый обычно в условиях, вредных для здоровья тела и препятствующих его гармоничному развитию. В этом отношении земледelec гораздо более благополучен: его натура, не испорченная душной и зачастую отравленной атмосферой заводов и фабрик, не изуродованная аномальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более цельной, но зато его ум — почти всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих.

Итак, ремесленники, заводские рабочие и земледельцы образуют вместе одну и ту же категорию, категорию физического труда, противопоставляемую привилегированным представителям умственного труда. Каковы следствия этого не фиктивного, а вполне реального разделения, составляющего самую основу современного как политического, так и социального положения?

Для привилегированных представителей умственного труда, которые, скажем мимоходом, при нынешней организации общества призваны быть его представителями, не потому, что они самые умные, но единственно потому, что родились в привилегированном классе, — для них все блага, но также и все губительные соблазны современной цивилизации: богатство, роскошь, комфорт, благосостояние, семейные радости, исключительная политическая свобода вместе с возможностью эксплуатировать труд миллионов рабочих и управлять ими по своей воле и в своих интересах, все изобретения, все изощрения воображения и мысли... и, вместе с возможностью стать цельными людьми, все язвы человечества, испорченного привилегиями.

Что остается представителям физического труда, этим бесчисленным миллионам пролетариев или даже мелким земельным собственникам? Безысходная нужда, отсутствие даже семейных радостей, ибо семья для бедного вскоре становится обузой, невежество, дикость и, мы бы сказали, вынужденное почти животное состояние, с тем утешением, что они служат пьедесталом для цивилизации, свободы и разложения немногих. Но зато они сохранили свежесть ума и сердца. Воспитанные трудом, хотя бы и принудительным, они сохранили чувство справедливости, много более правильной, чем справедливость юрисконсультов и кодексов; сами несчастные, они сочувствуют всякому несчастью, они сохранили здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики, и, так как они еще не злоупотребили и даже не воспользовались жизнью, они имеют веру в жизнь.

Но, скажут нам, этот контраст, эта пропасть между малым числом привилегированных и огромным количеством обездоленных всегда существовала и теперь существует: так что же изменилось? Изменилось то, что прежде эта пропасть была заполнена религиозным туманом, так что народные массы ее не видели, а теперь, после того как Великая Революция начала рассеивать этот туман, они тоже начинают видеть пропасть и спрашивать о ее причине. Значение этого безмерно.

С тех пор как Революция ниспослала в массы свое Евангелие, не мистическое, а рациональное, не небесное, а земное, не божественное, а человеческое, — свое Евангелие прав человека; с тех пор как она провозгласила, что все люди равны, что все одинаково призваны к свободе и человечности, народные массы всей Европы, всего мира начинают мало-помалу пробуждаться ото сна, который их сковывал с тех пор, как христианство усыпило их своими маковыми цветами, и начинают спрашивать себя, не имеют ли они тоже права на равенство, свободу и человечность.

Как только этот вопрос был поставлен, народ, как в силу своего удивительного здравого смысла, так и инстинкта, понял, что первым условием его действительного освобождения, или, если вы мне позволите это слово, его очеловечения, является коренная реформа экономических условий. Вопрос о хлебе правомерно является для него первым вопросом, ибо еще Аристотель заметил: человек, чтобы мыслить, чтобы чувствовать свободно, чтобы сделаться человеком, должен быть свободен от забот материальной жизни. Впрочем, буржуа, громко выступающие против материализма народа и призывающие его к идеалистическому воздержанию, знают это очень хорошо, ибо они проповедуют на словах, а не на примере. Второй вопрос для народа — это досуг после работы, условие *sine qua non*

человечности; но хлеб и досуг не могут быть им получены иначе как путем радикального преобразования современного устройства общества, и это объясняет, почему Революция как логическое следствие своего собственного принципа породила социализм.

Социализм

Французская Революция, провозгласив право и обязанность каждого человеческого индивидуума сделаться человеком, пришла в своих последних выводах к бабувизму. Бабеф — один из последних энергичных и безупречных граждан, созданных Революцией, а затем уничтоженных ею в таком количестве, — которому посчастливилось иметь в числе своих друзей таких людей, как Буонарроти, соединил в своей неповторимой концепции политические традиции своего древнего отечества с новейшими идеями социальной революции. Видя, что Революция угасает за недостатком коренного преобразования, впрочем, по всей вероятности, и невозможного при экономической структуре того общества, верный, с другой стороны, духу этой Революции, которая завершилась заменой всякой личной инициативы всемогущим действием Государства, он измыслил политическую и социальную систему, согласно которой республика, выражающая собой коллективную волю граждан, должна была конфисковать всякую личную собственность и управлять ею в интересах всех, наделяя каждого в равной мере воспитанием, образованием, средствами к существованию, развлечениями и принуждая всех без исключения, по мере сил и способностей каждого, к физическому и умственному труду. Заговор Бабефа не удался, он был гильотинирован вместе с несколькими друзьями. Но его идеал социалистической республики с ним не умер. Подхваченная его другом Буонарроти, величайшим конспиратором века, эта идея как священное сокровище была передана им новым поколениям; и благодаря тайным обществам, основанным Буонарроти в Бельгии и Франции, коммунистические идеи зародились в воображении народа. Они нашли с 1830 по 1848 год талантливых выразителей в лице Кабе и Луи Блана, которые создали в окончательном виде революционный социализм. Другое социалистическое течение, исходящее из того же революционного источника, стремящееся к той же цели, но совершенно иными средствами, — течение, которое мы бы охотно назвали доктринерским социализмом, было основано двумя замечательными людьми: Сен-Симоном и Фурье. Сен-симонизм был истолкован, развит, переработан и утвержден в виде чуть ли не обрядовой системы, своего рода церкви, отцом Анфантенон вместе со многими друзьями, из которых большая часть стала ныне финансистами и государственными людьми, чрезвычайно преданными Империи. Фурьеризм нашел своего интерпретатора в «Мирной демократии», издававшейся до 2 декабря г. Виктором Консидераном.

Заслуга этих двух социалистических систем, впрочем, во многих отношениях различных, заключается главным образом в глубокой, научной, строгой критике современного устройства общества, чьи чудовищные противоречия они смело раскрыли; затем в том важном факте, что эти системы яростно нападали на христианство и расшатали его во имя восстановления в своих правах материи и человеческих страстей, оклеветанных и в то же время так хорошо практикуемых христианскими священниками. Сен-симонисты хотели заменить христианство новой религией, в основе которой был мистический культ плоти, с новой иерархией священников, новых эксплуататоров толпы своей привилегией гения, способностей и таланта. Фурьеристы, куда большие и, можно сказать, даже искренние

демократы, придумали свои фаланстеры, управляемые избранными всеобщим голосованием руководителями, фаланстеры, где каждый сам себе, по мысли фурьеристов, нашел бы работу и место в соответствии с природой его страстей. Ошибки сен-симонистов слишком очевидны, чтобы стоило о них говорить. Двойная неправота фурьеристов заключалась, во-первых, в том, что они искренне верили, что единственно силой убеждения и мирной пропагандой они сумеют до такой степени тронуть сердца богатых, что те, в конце концов, сами придут сложить у порога фаланстера излишек своих богатств; во-вторых, в том, что они вообразили, что можно теоретически, а priori, построить социальный рай, в котором разместится будущее человечество. Они не поняли, что мы можем провозглашать какие угодно великие принципы его грядущего развития, но мы должны оставить опыту будущего практическую реализацию этих принципов.

Вообще, все социалисты, за исключением одного, до 1848 года питали общую страсть к регламентации. Кабе, Луи Блан, фурьеристы, сен-симонисты — все были одержимы страстью поучать и устраивать будущее, все были более или менее авторитарными.

Но вот явился Прудон, сын крестьянина, в сто раз больший революционер и в делах, и по инстинкту, чем все эти доктринерские буржуазные социалисты; он вооружился критикой столь же глубокой и пронизательной, сколь неумолимой, чтобы уничтожить все их системы. Противопоставив свободу авторитету, он в противоположность этим государственным социалистам смело провозгласил себя анархистом и имел мужество бросить в лицо их деизму или пантеизму заявление, что он просто атеист или, точнее, позитивист, подобно Огюсту Контю.

Социализм Прудона, основанный как на индивидуальной, так и на коллективной свободе и на спонтанной деятельности свободных ассоциаций, не подчиненный другим законам, кроме как общим законам социальной экономии; законам, которые открыты или которые еще предстоит открыть науке; социализм, стоящий вне всякой правительственной регламентации и всякого покровительства со стороны государства и подчиняющий политику экономическим, интеллектуальным и моральным интересам общества, должен был с течением времени прийти, в силу необходимой последовательности, к федерализму.

Таково было положение социальной науки до 1848 г. Poleмика в газетах, листках и социалистических брошюрах привнесла массу новых идей в рабочие классы; они были ими насыщены, и, когда разразилась революция 1848 года, социализм заявил о себе как мощная сила.

Как мы сказали, социализм был последним детищем Великой Революции; но до его рождения она произвела на свет своего более прямого наследника, своего старшего сына, любимца Робеспьеров и Сен-Жюстов: чистый республиканизм, без примеси социалистических идей, перенесенный из античного мира и вдохновляемый героическими традициями великих граждан Греции и Рима. Гораздо менее человечный, чем социализм, этот республиканизм почти не принимает в расчет человека, а признает лишь гражданина; если социализм стремится основать республику людей, то республиканизм желает лишь республику граждан, хотя бы они, как это было при конституциях, явившихся естественным и необходимым следствием конституции 1793 года (раз уж эта конституция после

недолгого колебания сознательно не затронула социального вопроса), — хотя бы они в качестве активных граждан (если воспользоваться выражением Учредительного собрания) основывали свое благополучие на эксплуатации труда пассивных граждан. Впрочем, политический республиканец сам по себе не является, или по крайней мере ему не полагается быть, эгоистом лично для себя, но он должен им быть для отечества, которое он должен ставить в своем свободном сердце выше себя самого, выше всех индивидуумов, выше всех наций в мире, выше всего человечества. Следовательно, он будет всегда игнорировать международную справедливость; во всех спорах, будет ли его отечество право или нет, он будет становиться на его сторону, он будет желать, чтобы оно всегда имело верх и подавляло другие народы своим могуществом и славой. Он сделается по естественной склонности завоевателем, несмотря на опыт веков, показывающий ему, что военные победы неизбежно должны привести к цезаризму. Республиканец-социалист ненавидит величие, могущество и военную славу государства, он предпочитает им свободу и благоденствие. Федералист во внутренней политике, он стремится и к международной конфедерации прежде всего из чувства справедливости, а также из убеждения что экономическая и социальная революция может осуществиться, переступив искусственные и пагубные границы государств, лишь при совместных действиях если не всех, то, по крайней мере, большей части наций, составляющих ныне цивилизованный мир, и что все нации рано или поздно должны будут к ним присоединиться. Исключительно политический республиканец — это стоик; он не признает для себя прав, а только обязанности, или, как в республике Мадзини, он признает лишь одно право: право быть самоотверженным и жертвовать собой для отечества, жить лишь для служения ему и с радостью умереть за него, как говорится в песне, которой г. Александр Дюма слишком щедро одарил жирондистов. «Умереть за отечество — это самый прекрасный, самый завидный жребий». Социалист, напротив, опирается на свое позитивное право на жизнь и на все как интеллектуальные и моральные, так и физические жизненные наслаждения. Он любит жизнь, он хочет полностью ею насладиться. Так как его убеждения составляют часть его самого и его обязанности по отношению к обществу неразрывно связаны с его правами, то, оставаясь верным тем и другим, он сумеет жить, следуя справедливости, как Прудон, и, если нужно, умереть, как Бабеф; но он никогда не скажет, что жизнь человечества должна быть принесена в жертву и что смерть является самым сладким жребием. Для политического республиканца свобода лишь пустой звук; это свобода быть добровольным рабом, преданной жертвой государства; готовый всегда пожертвовать ради него собственной свободой, он легко пожертвует и свободой других. Итак, политический республиканизм обязательно приведет к деспотизму. Но для республиканца-социалиста свобода, соединенная с благоденствием и создающая всеобщую человечность посредством человечности каждого, это все, между тем как Государство является в его глазах лишь инструментом, служителем благоденствия и свободы каждого. Социалист отличается от буржуа справедливостью, ибо он требует для себя лишь действительный плод своего собственного труда; от чистого республиканца он отличается своим искренним и человечным эгоизмом, живя открыто и без громких фраз для самого себя; он знает, что, поступая по справедливости, он служит всему обществу, а служа всему обществу, служит самому себе. Республиканец суров и часто — от патриотизма, как священник — из-за религии, — жесток. Социалист естествен, умеренно патриотичен, но зато всегда очень человечен. Одним словом, республиканца-социалиста и политического республиканца разделяет пропасть: один, полурелигиозное существо, относится к прошлому; другой,

позитивист или атеист, принадлежит будущему.

Эта противоположность проявилась в полной мере в 1848 году. С первых часов революции республиканцы и социалисты не смогли прийти ни к какому соглашению: их идеалы, все их инстинкты влекли их в диаметрально противоположные стороны. Все время от февраля до июня прошло в перестрелке; вызвав междоусобную войну в лагере революционеров и парализуя их силы, это естественно должно было склонить чашу весов на сторону выросшей до громадных размеров коалиции реакционеров всех оттенков, которые, гонимые страхом, объединились и образовали единую партию. В июне к ним присоединились и республиканцы, чтобы раздавить социалистов. Они полагали, что одержали победу, а на самом деле столкнули в бездну свою дорогую республику. Генерал Кавеньяк, знаменосец контрреволюции, был предвестником Наполеона III. Тогда это поняли все, если не во Франции, то всюду за ее пределами, ибо эта пагубная победа республиканцев над парижскими рабочими была отпразднована как великое торжество всеми дворами Европы, и офицеры прусской гвардии, с генералами во главе, поспешили отправить адрес с братскими поздравлениями генералу Кавеньяку.

Напуганная красным призраком, европейская буржуазия впала в полное раболепство. По природе своей она либеральна и фрондерски настроена, и потому ей не нравится военный режим, но она выбрала его перед лицом опасности народного освобождения. Пожертвовав своим достоинством и всеми своими славными завоеваниями XVIII-го и начала этого века, она полагала, по крайней мере, что покупает мир и спокойствие, необходимые для успеха ее торговых и промышленных предприятий: «Мы приносим вам в жертву свою свободу, — как бы говорила она власти военных, вновь поднявшейся из руин третьей революции, — взамен предоставьте нам возможность спокойно эксплуатировать народные массы и защитите нас от их притязаний, которые могут казаться справедливыми в теории, но которые ненавистны нам с точки зрения наших интересов». Буржуазии обещали все и даже сдержали данное ей слово. Почему же буржуазия, вся европейская буржуазия в настоящее время недовольна?

Она не рассчитала, что военный режим дорого стоит, что уже в силу своей внутренней организации он парализует, беспокоит, разоряет нации и что, более того, верный свойственной ему логике, которой он никогда не изменял, он имеет неизбежным последствием войну, войны династические, войны ради славы, войны завоевательные или территориальные, войны ради равновесия — постоянное уничтожение и поглощение одних государств другими, реки человеческой крови, сожжение деревень, разорение городов, опустошение целых провинций — и все это, чтобы удовлетворить честолюбие царствующих лиц и их фаворитов, чтобы их обогащать, чтобы подчинить, держать в повиновении народы и войти в историю.

Теперь буржуазия понимает это, и потому она недовольна режимом, установлению которого она так сильно способствовала. Он ей надоел; но чем она его заменит?

Конституционная монархия отжила свое время, да она никогда и не пользовалась особым успехом на европейском континенте; даже в Англии, этой исторической колыбели современного конституционализма, ныне под сокрушительными ударами поднимающейся

демократии она поколеблена, она шатается и вскоре будет уже не в состоянии сдерживать волну народных страстей и требований.

Республика? Но какая республика? Только политическая, или демократическая и социальная? Имеют ли еще народы социалистические настроения? Да, более чем когда-либо.

В 1848 году погиб не социализм вообще, а только государственный социализм, тот авторитарный и регламентированный социализм, который верил и надеялся, что Государство сможет полностью удовлетворить потребности и законные стремления рабочих классов, что, достигнув всемогущества, оно захочет и будет в состоянии положить начало новому общественному порядку. Итак, не социализм умер в июне, а Государство объявило себя банкротом перед социализмом и, признав себя неспособным заплатить ему долг и тем самым выполнить заключенный с ним договор, оно попробовало его убить, чтобы самым легким образом освободиться от этого долга. Убить его не удалось, но Государство убило веру, которую социализм в него питал, и тем самым уничтожило все теории авторитарного или доктринерского социализма, из которых одни, как «Икария» Кабе или «Организация труда» г. Луи Блана, советовали народу во всем положиться на Государство, а другие продемонстрировали свою бездейственность рядом смехотворных опытов. Даже банк Прудона, который при более счастливом стечении обстоятельств мог бы процветать, потерпел крах, раздавленный буржуазией, проявлявшей к нему неприязнь и враждебность.

Социализм проиграл это первое сражение по очень простой причине: он был полон стремлений и отрицательных теоретических идей, тысячекратно обосновывавших его борьбу против привилегий, но у него совсем не было положительных, практических идей, необходимых для того, чтобы на развалинах буржуазной системы построить новую систему, систему народной справедливости. Рабочие, сражавшиеся в июне за освобождение народа, были объединены инстинктом, а не идеями. Те неясные идеи, которые они имели, являли собой Вавилонскую башню, хаос, из которого ничего не могло выйти. Такова была главная причина их поражения. Надо ли из-за этого сомневаться в будущем и в действительной силе социализма? Христианству, поставившему своей целью основание царства справедливости на небе, нужно было несколько столетий, чтобы одержать победу в Европе. Нужно ли удивляться, что социализм, поставивший перед собой гораздо более трудную задачу — основание царства справедливости на земле, не одержал победу в течение нескольких лет?

Господа, нужно ли доказывать, что социализм не умер? Чтобы в этом убедиться, надо лишь бросить взгляд на то, что происходит в настоящее время во всей Европе. Если отбросить все дипломатические сплетни и слухи о войне, наполняющие Европу с 1852 года, то какой серьезный вопрос, если не вопрос социальный, стоит во всех странах? Это великий незнакомец, чье приближение чувствуют все, который заставляет трепетать каждого и о котором никто не смеет говорить... Но он сам за себя говорит, и чем дальше, тем громче; не доказывают ли рабочие кооперативные ассоциации, эти банки взаимопомощи и рабочего кредита, эти тред-юнионы, эта интернациональная лига рабочих всех стран, все это нарастающее движение трудящихся в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Швейцарии, не доказывает ли все это, что рабочие не отказались от своей цели, не потеряли веру в свое близкое освобождение и в то же время поняли, что для приближения

часа своего освобождения они не должны более полагаться ни на государства, ни на помощь, всегда более или менее лицемерную, привилегированных классов, а рассчитывать только на самих себя и на свои собственные спонтанные ассоциации?

В большинстве европейских стран это движение, внешне, по крайней мере, чуждое политике сохраняет исключительно экономический и, так сказать, частный характер. Но в Англии оно твердо стало на раскаленную землю политики и, организовавшись в громадную лигу, «Лигу Реформы», уже одержало большую победу над политически организованной привилегией аристократии и крупной буржуазии. С чисто английским терпением и последовательностью «Reform League» наметила себе план действий; она ничем не брезгует, не дает себя запугать и не останавливается ни перед каким препятствием. «Самое позднее через десять лет, — говорят они, — беря в расчет самые большие препятствия, мы будем иметь всеобщее избирательное право и тогда...», — тогда они совершат социальную революцию!

Во Франции, как и в Германии, социализм, молча действуя через частные экономические ассоциации, достиг уже такой силы в среде рабочих классов, что Наполеон III, с одной стороны, и граф Бисмарк, с другой, начинают искать союза с ним... В Италии и Испании, при плачевном фиаско всех политических партий и страшной нищете, всякий другой вопрос скоро затеряется в вопросе экономическом и социальном. А в России и в Польше есть ли, в сущности, другой вопрос? Это он недавно разрушил последние надежды старой, исторической, дворянской Польши. Это он угрожает существованию и разрушит эту уже сильно расшатанную страшную всероссийскую Империю. Даже в Америке не проявился ли в полной мере социализм в предложении замечательного человека, бостонского сенатора г. Чарльза Самнера наделить землей освобожденных негров из Штатов Юга?

Как видите, господа, социализм — всюду; и, несмотря на июньское поражение, он путем подпольной работы постепенно проник в самые недра политической жизни всех стран и везде дает о себе знать как скрытая сила века. Еще несколько лет, и он проявится как открытая и действенная сила.

За немногими исключениями, все народы Европы, некоторые даже не зная слова «социализм», являются сегодня социалистическими; они не признают другого знамени, кроме того, которое им возвещает прежде всего их экономическое освобождение, и в тысячу раз охотнее отступились бы от всякого другого вопроса, но не от этого. Следовательно, только через социализм можно вовлечь их в политику, в настоящую политику.

Не достаточно ли сказанного, господа, чтобы убедиться, что нам непозволительно умолчать в своей программе о социализме и что такое умолчание обрекло бы все наше дело на бессилие? Провозгласив себя в нашей программе республиканцами-федералистами, мы показали себя достаточно революционными, чтобы оттолкнуть от себя добрую часть буржуазии: ту, которая спекулирует на нищете и несчастьях народов, ухитряется извлекать выгоду даже из великих бедствий, ныне более чем когда-либо постигающих народы. Если мы отставим в сторону эту деятельную, беспокойную, интриганскую, спекулятивную часть буржуазии, то у нас еще останется большинство буржуа: спокойных, предприимчивых,

причиняющих иногда зло, но скорей по необходимости, чем по доброй воле, которые ничего так не желают, как быть освобожденными от этой фатальной необходимости, ставящей их в постоянное враждебное отношение с рабочим народом и в то же время разоряющей их самих. Нельзя не отметить, что в настоящее время мелкая буржуазия, мелкая промышленность и мелкая торговля начинают бедствовать почти так же, как и рабочие классы, и если так будет продолжаться, то это достойное уважения буржуазное большинство может скоро слиться по своему экономическому положению с пролетариатом. Крупная торговля, крупная промышленность и в особенности крупная и бесчестная спекуляция давят его, пожирают, толкают в бездну. Мелкая буржуазия становится все более революционной, и ее идеи, остававшиеся долгое время реакционными, ныне, вследствие горьких уроков, начинают проясняться и обязательно разовьются в обратном направлении. Самые умные начинают понимать, что для честной буржуазии единственное спасение — в союзе с народом и что социальный вопрос касается ее в той же степени и таким же образом, в какой мере и как он касается народа.

Это постепенное изменение в воззрениях мелкой буржуазии Европы является фактом столь же утешительным, сколь и неоспоримым. Но не надо обманываться: инициатива нового развития будет принадлежать народу, а не ей; на Западе — фабричным и городским рабочим; у нас, в России, в Польше и в большинстве славянских стран — крестьянам. Мелкая буржуазия сделалась слишком трусливой, робкой, скептической, чтобы взять на себя какую-либо инициативу; она даст себя увлечь, но никого не повлечет за собой, ибо бедна на идеи и ей не хватает веры и страсти.

Та страсть, которая крушит препятствия и творит новые миры, есть только у народа. Итак, инициатива нового движения бесспорно будет принадлежать народу. И мы бы умолчали о народе? и мы бы ничего не сказали о социализме, новой религии народа?

Но, скажут нам, социализм проявляет склонность к союзу с цезаризмом. Во-первых, это клевета; напротив, именно цезаризм, видя на горизонте появление грозной силы социализма, стремится завоевать его симпатии, чтобы эксплуатировать их на свой манер. Но не является ли это для нас лишней причиной устремить сюда свою энергию, чтобы не допустить этого чудовищного союза, плодом которого явилось бы, конечно, самое большое бедствие, угрожающее свободе мира?

Мы должны заняться этим, даже и не принимая в расчет всех практических мотивов, ибо социализм — это справедливость. Говоря о справедливости, мы подразумеваем не ту, которая заключена в кодексах и в римской юриспруденции, основанных в громадной степени на фактах насилия, силою же внедренных, освященных временем и благословением какой-либо, христианской или языческой, церкви и признанных т. о. за абсолютные принципы, из которых логически следует все остальное^[5], — мы говорим о справедливости, основывающейся единственно на сознании людей, на справедливости, которую вы найдете у каждого человека и даже в сознании детей и суть которой передается одним словом: равенство.

Эта всеобщая справедливость, которая, однако, благодаря насильственным захватам и религиозным влияниям никогда еще не имела перевеса ни в политическом, ни в

юридическом, ни в экономическом мире, должна послужить основанием нового мира. Без нее нет ни свободы, ни республики, ни благоденствия, ни мира! Итак, мы должны руководствоваться ею во всех наших решениях, дабы мы могли деятельно способствовать установлению мира.

Эта справедливость повелевает нам взять в свои руки дело народа, с которым до сих пор столь ужасно обращались, и потребовать для него вместе с политической свободой также экономическое и социальное освобождение.

Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы призываем вас снова провозгласить великий принцип Французской Революции: каждый человек должен иметь материальные и нравственные средства для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, выражается в следующей проблеме.

Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, имел бы приблизительно равные возможности для развития различных способностей и для их применения в своей работе, создать такое устройство общества, которое сделало бы невозможным для всякого индивидуума, кто бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и позволяло бы ему пользоваться общественным богатством, являющимся, в сущности, продуктом человеческого труда лишь в той мере, в какой он своим трудом непосредственно способствовал его созданию.

Полное осуществление этой задачи будет, конечно, делом столетий. Но история ее выдвинула, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие.

Добавим сразу, что мы решительно отклоняем всякую попытку социальной организации, которая, будучи далекой от самой полной свободы как индивидов, так и ассоциаций, требовала бы какого-нибудь регламентирующего авторитета. Во имя свободы, которую мы признаем как единственную основу и единственный законный творческий принцип всякой организации, мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-нибудь будет похоже на государственный социализм и коммунизм.

Единственное, что, по нашему мнению, может и должно сделать государство, это начать с постепенного изменения права наследования, с тем чтобы по мере возможности упразднить его полностью. Право наследования, будучи всецело созданием государства, одним из основных условий самого существования авторитарного и божественного государства, может и должно быть уничтожено свободой в государстве; другими словами, государство должно раствориться в обществе, свободно организованном на началах справедливости. Это право, по нашему мнению, необходимо упразднить, ибо, пока существует наследование, будет существовать наследственное экономическое неравенство — не естественное неравенство индивидуумов, а искусственное неравенство классов; а оно всегда будет непременно порождать наследственное неравенство, включая их содержание от рождения до совершеннолетия. Добавим, что у нас, как у славян и русских, социальной идеей, основанной на общем и традиционном для населения чувстве, является та, что земля, собственность всего народа, может быть во владении лишь тех, кто обрабатывает ее

собственными руками. Равенство исходного пункта в начале жизненного пути для каждого, притом, что это равенство будет зависеть от экономического и политического устройства общества, и с тем, чтобы каждый, независимо от разницы натуры, был бы дитя своих дел, — вот в чем состоит проблема справедливости. По нашему мнению, единственным наследником умирающих должен быть общественный фонд воспитания и образования детей обоего пола

Мы убеждены, господа, что этот принцип справедлив, что он является существенным и обязательным условием всякой серьезной социальной реформы и что поэтому Западная Европа непременно должна будет, в свою очередь, его признать и принять, несмотря на трудности, с которыми его осуществление может столкнуться в некоторых странах, например, во Франции. Там большинство крестьян уже пользуется земельной собственностью, но вскоре большая часть этих самых крестьян не будет владеть почти ничем, вследствие той раздробленности земли, которая неизбежна при политико-экономической системе, господствующей в настоящее время в этой стране. Мы ничего не предлагаем по этому вопросу, как и вообще мы воздерживаемся от всяких предложений, касающихся проблемы социальной науки и политики, ибо мы убеждены, что все эти вопросы должны стать в нашей газете предметом серьезного и глубокого обсуждения. Итак, мы ограничиваемся сегодня тем, что предлагаем вам сделать следующую декларацию:

«Убежденная в том, что серьезное осуществление в обществе свободы, справедливости и мира невозможно до тех пор, пока огромное большинство населения остается лишенным всех благ, образования, низведенным до политического и социального ничтожества и обреченным на фактическое, если не юридическое рабство, вследствие нищеты и необходимости работать без отдыха и досуга, производя все те богатства, которыми кичится сегодня мир, и получая столь малую их часть, что ее едва хватает для обеспечения хлеба насущного; Убежденная в том, что для всей массы, населения, с которой обращались столь ужасно в течение столетий и по сие время, вопрос хлеба является вопросом интеллектуального освобождения, свободы и человечности;

Что свобода без социализма — это привилегия, несправедливость, и что социализм без свободы — это рабство и животное состояние;

Лига провозглашает необходимость коренной социальной и экономической реформы, которая имеет своей целью освобождение труда народа от ига капитала и собственников на основе самой строгой справедливости, не юридической, теологической и метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе.

Она заявляет также, что страницы ее газеты будут широко открыты для всех серьезных дискуссий по экономическим и социальным вопросам, если только они будут воодушевлены искренним желанием самого полного освобождения народа как в материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной».

Изложив свои взгляды на Федерализм и Социализм, мы полагаем, господа, своей обязанностью рассмотреть вместе с вами еще третий вопрос, который мы считаем нераздельно связанным с двумя первыми вопросами, т. е. религиозный вопрос, и мы просим

у вас позволения резюмировать все наши взгляды по этому вопросу в одном слове, которое покажется вам, быть может, варварским:

Антитеологизм

Господа, мы убеждены, что в мире не произошло ни одного крупного политического и социального изменения, которое бы не сопровождалось, а зачастую и не предварялось, аналогичным движением в философских и религиозных идеях, управляющих сознанием как индивидов, так и Общества.

Все религии со своими богами всегда были только созданием верующей и легковерной фантазии человека, еще не достигшего уровня чистой рефлексии и свободной, основанной на науке мысли; религиозное небо было лишь миражом, в котором воспламененный верой человек находил свой собственный образ, но увеличенный и перевернутый, то есть обожествленный.

История религий, история величия и упадка следовавших друг за другом богов — не что иное, как история развития коллективного ума и коллективного сознания людей. По мере того как они открывали в себе или вне себя какую-либо силу, способность или качество, они приписывали его своим богам, увеличив его, расширив сверх всякой меры актом своей религиозной фантазии, подобно тому, как это делают дети. Таким образом, благодаря скромности и великодушию людей, небо обогатилось плодами земли, и, естественно, чем небо становилось богаче, тем беднее становилось человечество. Как только божество было признано, оно, естественно, было провозглашено господином, источником, дарителем всего: реальный мир стал существовать лишь через него, и человек, его бессознательный творец, пал перед ним на колени и объявил себя творением, рабом божества.

Христианство является религией *par excellence* именно потому, что оно показывает и выражает саму природу и сущность всякой религии: систематическое и абсолютное обнищание, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества — высший принцип не только всякой религии, но и всякой метафизики, как теистической, так и пантеистической. Если Бог — все, то реальный мир и человек — ничто. Если Бог — истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, несправедливость и смерть. Если Бог — господин, то человек — раб. Неспособный сам отыскать путь справедливости и истины, он должен получить их, как откровение свыше, через посланников и избранников божьей милости. Кто возвещает откровение, тот признает глашатаев его, пророков, священников, а раз они признаны представителями божества на земле, учителями, воспитателями человечества для вечной жизни, то они получают тем самым право руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном существовании. Все люди обязаны абсолютно верить и беспрекословно им повиноваться; рабы Божьи, люди должны быть также рабами Церкви и, с благословения Церкви, рабами Государства. Из всех существующих или существовавших религий только христианство это целиком поняло, а из всех христианских сект только римский католицизм провозгласил и осуществил это со строгой последовательностью. Вот почему христианство является религией абсолютной, последней религией; вот почему апостольская и римская церковь является единственно последовательной, законной и божественной.

Не в обиду будь сказано всем полуфилософам, всем так называемым религиозным мыслителям: существование Бога обязательно предполагает отречение от человеческого разума и человеческой справедливости; оно является отрицанием человеческой свободы и неизбежно приводит не только к теоретическому, но и к практическому рабству.

И если мы не хотим рабства, мы не можем и не должны делать ни малейшей уступки теологии, ибо в этом мистическом и строго последовательном алфавите всякий, начав с А, неизбежно дойдет до Я, и всякий, кто хочет поклоняться Богу, должен отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит, человек — раб.

Человек разумен, справедлив, свободен, — значит, Бога нет.

Мы призываем всех выйти из этого круга, теперь выбирайте.

К тому же история показывает, что священники всех религий, за исключением преследуемых, были союзниками тирании. И даже преследуемые священники, хотя они и боролись против притеснения властей, и проклинали их, разве они не дисциплинировали своих верующих и не приготавливали тем самым элементы новой тирании? Каким бы ни было духовное рабство, оно всегда будет иметь своим естественным последствием рабство политическое и социальное. В настоящее время христианство во всех своих формах, вместе с вытекающей из него доктринерской и деистической метафизикой, которая в сущности не что иное, как замаскированная теология, несомненно является самым большим препятствием на пути освобождения общества. Поэтому-то все правительства, все государственные люди Европы, которые сами не являются ни метафизиками, ни теологами, ни деистами, которые в глубине души не верят ни в бога, ни в дьявола, так страстно, так неистово защищают и метафизику, и религию, какую бы то ни было религию, лишь бы она проповедовала смирение, подчинение и терпение, — что, впрочем, все религии и делают.

Неистовство, с которым они встают на защиту религий, доказывает, насколько нам необходимо бороться с ними и их уничтожить.

Нужно ли вам, господа, напоминать, как деморализуют и развращают народы религиозные влияния? Они убивают разум, это главное орудие человеческого освобождения, и сводят его к слабоумию, заполняя ум божественным абсурдом — главной основой всякого рабства. Они убивают в людях трудовую энергию, славу и спасение народа. Ведь труд есть то творческое деяние человека, коим он созидает свой мир, основание и условия своего человеческого существования и завоевывает одновременно свою свободу и свою человечность. Религия убивает в людях производительную силу, заставляя их презирать земную жизнь в ожидании небесного блаженства, представляя им труд как проклятие или заслуженное наказание, а праздность — как божественную привилегию. Религия убивает в людях справедливость, эту суровую хранительницу братства и это высшее условие мира, всегда склоняя чашу весов в сторону более сильных, избранных объектов божией заботы и милости и благословения. Наконец, она убивает в них человечность, заменяя ее в их сердцах божественной жестокостью.

Всякая религия основана на крови, ибо все религии, как известно, опираются главным образом на идею жертвоприношения, т. е. постоянного заклания человечества ради ненасытной мстительности божества. В этом кровавом таинстве человек всегда является жертвой, а священник, тоже человек, но человек, возвышенный благодатью, — божественным палачом. Это нам объясняет, почему священники всех религий, даже самые лучшие, самые человеческие, самые добрые, почти всегда несут в глубине своего сердца, и если не в сердце, то по крайней мере в уме и в воображении, — а известно, какое влияние они имеют на сердце, — нечто жестокое и кровожадное; и почему, когда повсюду обсуждался вопрос об отмене смертной казни, все священники, римско-католические, православные, московские и греческие, протестантские, все единогласно высказывались за ее сохранение!

Христианская религия более, чем всякая другая, была основана на крови и исторически крещена кровью. Посчитайте миллионы жертв, которых эта религия любви и прощения заклала ради удовлетворения жестокой мести своего Бога. Вспомните пытки, которые она выдумала и применяла. Разве ныне она сделалась более кроткой и гуманной? Нет, поколебленная равнодушием и скептицизмом, она лишь сделалась бессильной, или, скорее, гораздо менее сильной, ибо, к сожалению, она не утратила еще, даже и в настоящее время, способности творить зло. Посмотрите на страны, в которых, гальванизированная реакционными страстями, она словно воскресла: разве не остается ее первым словом — месть и кровь, ее вторым словом — отречение от человеческого разума, а ее заключением — рабство? Покуда христианство и христианские священники, покуда какая бы то ни было божеская религия будет иметь хотя бы малейшее влияние на народные массы, до тех пор не восторжествуют на земле разум, свобода, человечность и справедливость. Ибо, покуда народные массы находятся во власти религиозных суеверий, они будут послушным орудием в руках всех деспотизмов, объединившихся против освобождения человечества.

Поэтому нам чрезвычайно важно освободить массы от религиозных суеверий, и не только из-за любви к ним, но также и из-за любви к самим себе, ради спасения нашей свободы и безопасности. Но эта цель может быть достигнута лишь двумя средствами: рациональной наукой и пропагандой социализма.

Мы подразумеваем под рациональной наукой ту, которая, освободившись от всех призраков метафизики и религии, отличается и от чисто экспериментальных и критических наук прежде всего тем, что не ограничивает свои исследования тем или иным определенным предметом, а старается охватить весь доступный познанию мир, ибо ей нет дела до непознаваемого; далее, тем, что она пользуется не только и исключительно аналитическим методом, как это делают вышеупомянутые науки, но позволяет себе прибегать и к синтезу, довольно часто пользуется аналогией и дедукцией, но всегда придает своим синтетическим выводам чисто гипотетическое значение, пока они не подтверждены самым строгим экспериментальным или критическим анализом.

Гипотезы рациональной науки отличаются от гипотез метафизики в том отношении, что эта последняя, выводя свои гипотезы как логические следствия из абсолютной системы, пытается заставить природу их принять, тогда как гипотезы рациональной науки, исходящие не из трансцендентной системы, а из синтеза, являющегося не чем иным, как

резюме или общим выражением множества доказанных на опыте фактов, никогда не могут иметь такого императивного, обязательного характера, поскольку они всегда выдвигаются таким образом, что их можно отбросить сейчас же, как только они окажутся опровергнутыми новыми опытами.

Рациональная философия или универсальная наука не ведет себя ни аристократически, ни авторитарно, как то делала усопшая госпожа метафизика. Эта последняя, смотря всегда сверху вниз, путем дедукции и синтеза, на словах, правда, признавала автономию и свободу частных наук, но на деле страшно их притесняла. Доходило до того, что она навязывала им законы и даже факты, которых часто нельзя было обнаружить в природе, и препятствовала проведению ими опытов, результаты которых могли бы уничтожить ее спекуляции. Как видите, метафизика действовала по методу централизованных государств.

Рациональная философия, наоборот, является совершенно демократической наукой. Она свободно строится снизу вверх, и опыт — ее единственная основа. Она не может принять ничего, что не было бы подвергнуто действительному анализу и подтверждено опытом или самой строгой критикой. Поэтому Бог, Бесконечное, Абсолют — все эти столь любимые метафизикой объекты — полностью из нее устраняются. Она с равнодушием отворачивается от них, считая их призраками или миражами. Но поскольку призраки и миражи играют существенную роль в развитии человеческого духа, ибо человек обычно приходит к постижению простой истины лишь после того, как он создал и исчерпал в своем воображении все возможные иллюзии, и поскольку развитие человеческого ума является реальным предметом науки, постольку естественная философия уделяет им место, но, занимаясь ими лишь с исторической точки зрения, она старается одновременно показать нам как физиологические, так и исторические причины зарождения, развития и упадка религиозных и метафизических идей, а также их относительную и преходящую необходимость для развития человеческого духа. Таким образом, отдав им все, на что они по справедливости имеют право, она отворачивается от них навсегда.

Ее предмет — это реальный и познаваемый мир. В глазах рационального философа в мире существует лишь одно сущее и одна наука. Поэтому он стремится охватить и согласовать все частные науки в единой системе. Эта координация всех позитивных наук в единое человеческое знание составляет позитивную философию, или универсальную науку. Наследуя религии и метафизике и в то же время совершенно их отрицая, эта философия, издавна предчувствуемая и подготавливаемая лучшими умами, была впервые представлена в виде целостной системы великим французским мыслителем Огюстом Контом, который умелой и твердой рукой сделал ее первый набросок.

Координация наук, устанавливаемая позитивной философией, не является простым их рядомположением, это своего рода органическое сцепление, начинающееся с самой абстрактной науки, с той, которая занимается фактами самого простого порядка, а именно с математики, и постепенно восходящее к наукам сравнительно более конкретным, предметом которых являются все более и более сложные факты. Так, от чистой математики переходят к механике, к астрономии, потом к физике, к химии, геологии и биологии (включая сравнительную классификацию, анатомию и физиологию сначала растений, затем животных) и завершают социологией, которая охватывает всю историю человечества в

развитии человеческого Существа, коллективного и индивидуального, в политической, экономической, социальной, религиозной, художественной и научной жизни. Между всеми этими следующими одна за другой науками, начиная с математики и кончая социологией, нет ни одного перерыва непрерывности. Единое Существо, единое знание и в основе всегда один и тот же метод, который лишь усложняется, по мере того как факты, с которыми он имеет дело, становятся более сложными; каждая последующая наука широко и всецело опирается на предыдущую и предстает, насколько это позволяет современное состояние наших реальных знаний, как ее необходимое развитие.

Любопытно отметить, что порядок наук, установленный Огюстом Контом, почти такой же, как в «Энциклопедии» Гегеля, величайшего метафизика настоящих и прошлых времен, который имел счастье и славу довести развитие спекулятивной философии до ее кульминационного момента, так что, следуя своей собственной диалектике, она должна была сама себя разрушить. Но между Огюстом Контом и Гегелем есть громадное различие. Если Гегель, как истинный метафизик, спиритуализировал материю и природу, выводя их из логики, т. е. из духа, Огюст Конт, напротив, материализировал дух, основывая его единственно на материи. Именно в этом его безмерная заслуга.

Так, психология, эта столь важная наука, служившая даже фундаментом метафизики, которую спекулятивная философия рассматривала как мир чуть ли не абсолютный, спонтанный и свободный от всякого материального влияния, в системе Огюста Конта основывается единственно на физиологии и является просто ее развитием. Таким образом, то, что мы называем умом, воображением, памятью, чувством, ощущением и волей, является в наших глазах лишь различными способностями, функциями или видами деятельности человеческого тела.

С этой точки зрения, человеческий мир в его развитии и истории, который раньше рассматривался как проявление теологической, метафизической и юридикто-политической идеи и который теперь мы вновь должны начать изучать, взяв за исходную точку природу, а за путеводную нить нашу собственную физиологию, предстанет перед нами в совершенно новом свете, более естественно, более широко, более человечно, с множеством выводов для будущего.

На этом пути уже предчувствуется появление новой науки, социологии, т. е. науки об общих законах, управляющих всем развитием человеческого общества. Социология будет последней ступенью и увенчанием позитивной философии. История и статистика доказывают нам, что социальное тело, подобно всякому другому природному телу, повинует в своих изменениях и превращениях общим законам, которые, по-видимому, столь же необходимы, как и законы физического мира. Выявление этих законов из событий прошлого и массы фактов настоящего — таков должен быть предмет этой науки. Помимо громадного интереса, представляемого ею для ума, она обещает в будущем и большую практическую пользу; ибо, подобно тому как мы можем властвовать над природой и преобразовывать ее согласно нашим возрастающим нуждам лишь благодаря приобретенному нами знанию ее законов, мы сумеем осуществить свободу и благоденствие в социальной среде лишь с учетом естественных, постоянных законов, управляющих этой средой. Коль скоро мы признали, что пропасти, которая в воображении теологов и

метафизиков разделяет дух и природу, вовсе не существует, мы должны рассматривать человеческое общество как тело, — правда, гораздо более сложное, чем другие, но столь же естественное и повинующееся тем же законам, а также законам, исключительно ему свойственным. Раз это признано, становится ясным, что знание и строгое соблюдение этих законов необходимо для того, чтобы социальные изменения, которые мы намерены произвести, были бы действительны.

Но, с другой стороны, мы знаем, что социология — это наука, которая только что родилась, что она еще в поисках своих принципов, и если мы будем судить об этой науке, самой трудной из всех, по примеру других, то мы должны будем признать, что потребуются века, по крайней мере одно столетие, чтобы она могла окончательно утвердиться и сделаться наукой серьезной и сколько-нибудь полной и самодостаточной. Что же тогда делать? Надо ли, чтобы страдающее человечество ожидало избавления от угнетающих его несчастий в продолжение еще одного столетия или более, до тех пор пока окончательно утвердившаяся позитивная социология не объявит ему, что она, наконец, в состоянии дать ему указания и инструкции, необходимые для его рационального переустройства?

Нет, тысячу раз нет! Прежде всего, чтобы ждать еще несколько столетий, надо иметь терпение... По старой привычке мы чуть было не сказали: терпение немцев — но нас остановила мысль, что в настоящее время другие народы превзошли немцев в проявлении этой добродетели. Затем, даже если предположить, что у нас есть возможность и терпение ждать, то чем было бы общество, представляющее собой лишь применение на практике науки, хотя бы самой полной и совершенной в мире? — Ничтожеством. Представьте себе мир, не заключающий в себе ничего, кроме того, что человеческий ум до сих пор заметил, узнал и понял, — разве не являлся бы он лачугой по сравнению с тем миром, который действительно существует?

Мы полны уважения к науке и считаем ее драгоценнейшим сокровищем, чистейшей славой человечества. Ею человек отличается от животного, своего меньшего брата в настоящем, своего предка в прошлом; она дает ему возможность быть свободным. Тем не менее, необходимо также признать ограниченность науки, напомнить ей, что она не есть целое, а только часть, что целое — это жизнь: универсальная жизнь миров или, дабы не потеряться в неведомом и неопределенном, жизнь нашей Солнечной системы или хотя бы нашего земного шара, наконец; говоря более узко: человеческий мир — движение, развитие, жизнь человеческого общества на Земле. Все это бесконечно шире, глубже и богаче науки и никогда не будет ею исчерпано.

Жизнь, взятая в этом всеобъемлющем смысле, отнюдь не является применением какой бы то ни было человеческой или божеской теории; мы сказали бы, что это — творение, если бы мы не опасались превратного толкования этого слова. Сравнивая народы, творящие собственную историю, с художниками, мы могли бы спросить: разве великие поэты ждали когда-нибудь открытия наукой законов поэтического творчества для создания своих шедевров? Разве Эсхил и Софокл не создали свои великолепные трагедии много раньше, чем Аристотель построил на основании их творений первую эстетику? Разве какая-нибудь теория вдохновляла Шекспира? А Бетховен? Не расширил ли он созданием своих симфоний самые основания контрапункта? И чем бы было произведение искусства, созданное по

правилам самой лучшей эстетики в мире? Скажем еще раз: чем-то ничтожным. Но народы, творящие свою историю, по всей вероятности, ничуть не беднее инстинктом и творческой силой, не более зависимы от господ ученых, чем художники!

Если мы колеблемся, употребить ли слово «творение», то только из опасения, что ему придадут смысл, который мы никак не можем принять. Кто говорит о творении, говорит как будто и о творце, а мы отвергаем существование единого творца как в отношении к человеческому миру, так и к миру физическому, которые, впрочем, вместе составляют, на наш взгляд, один мир. Даже говоря о народах, творцах своей собственной истории, мы сознаем, что употребляем метафорическое выражение, неточное сравнение. Каждый народ является коллективным существом, обладающим как физиолого-психологическими, так и политико-социальными особенностями, которые в какой-то степени индивидуализируют его, отличая от всех других народов; но никогда не индивид, единое и неделимое существо в истинном смысле слова. Как ни развито его коллективное сознание, как ни концентрировано в момент великого национального кризиса страстное, направленное на одну цель стремление, именуемое народной волей, никогда эта концентрация не сравнится с той, что свойственна реальному индивиду. Одним словом, ни один народ, каким бы единым он себя ни чувствовал, никогда не может сказать: я хочу! Он должен всегда говорить: мы хотим. Только индивидуум имеет привычку говорить: я хочу! И если говорят от имени всего народа: он хочет! — будьте уверены, что за этим скрывается какой-нибудь узурпатор, человек это или партия.

Итак, мы не подразумеваем здесь под словом «творение» ни теологическое или метафизическое творение, ни художественное, научное, промышленное, ни какое-либо иное творение, за которым стоит индивидуум-творец. Мы подразумеваем под этим словом просто бесконечно сложный продукт бесчисленного множества самых различных причин, больших и малых, частью известных, но в подавляющем большинстве остающихся неизвестными, которые, соединившись в данный момент, конечно, не без причины, но и без заранее начертанного плана, совершенно непреднамеренно, создали данный факт.

Но в таком случае, скажут нам, история и судьбы человеческого общества должны были бы представлять собой один лишь хаос и быть игрою случая? Напротив, только с момента освобождения истории от всякого божественного и человеческого произвола, тогда и только тогда она предстает перед нами во всем величии и рациональности закономерного развития, подобно органической и физической природе, чьим непосредственным продолжением она является. Природа, несмотря на неисчерпаемое богатство и разнообразие составляющих ее существ, нисколько не представляет собой хаоса; напротив, это великолепно организованный мир, где каждая часть сохраняет, так сказать, необходимую логическую связь со всеми остальными. Но, скажут, значит, был тогда устроитель? Вовсе нет, устроитель, будь он хоть богом, мог бы лишь испортить личным произволом естественное устройство и логическое развитие вещей, а мы видели, что во всех религиях главное свойство божества — это быть именно выше, то есть против всякой логики и всегда иметь только одну собственную логику: логику естественной невозможности, абсурдности[6]. Ибо что такое логика, как не естественный ход и развитие вещей, или же естественный способ, посредством которого множество определяющих причин производит факт. Следовательно, мы можем высказать эту столь простую и в то же время столь смелую

аксиому: все естественное — логично, и все логичное — осуществлено или должно осуществиться в реальном мире, в самой природе и в ее дальнейшем развитии — естественной истории человеческого общества.

Итак, вопрос в том, что логично и в природе, и в истории? Это не так легко определить, как может сначала показаться. Ибо, чтобы знать это в совершенстве, никогда не ошибаясь, надо обладать знанием всех причин, влияний, действий и противодействий, определяющих природу какой-либо вещи или факта, не исключая ни одной причины, хотя бы самой отдаленной или незначительной. И какая философия или наука сможет похвалиться, что она в состоянии объять все причины и исчерпать их своим анализом? Надо обладать очень скудным умом, весьма слабо сознавать бесконечное богатство реального мира, чтобы претендовать на это.

Надо ли из-за этого сомневаться в науке? Надо ли отбрасывать ее, потому что она дает нам лишь то, что может дать? Это было бы еще одним безумием, и более пагубным, чем первое. Если вы потеряете науку, то за неимением знаний возвратитесь к состоянию горилл, наших предков, и вам придется в течение еще нескольких тысяч лет повторить весь путь, пройденный человечеством при фантазмагорическом мерцании религии и метафизики, чтобы вновь прийти к свету, правда, еще несовершенному, но, по крайней мере, вполне несомненному, которым мы уже обладаем сегодня.

Самой большой и решительной победой, одержанной наукой в наши дни, является, как мы уже видели, включение психологии в биологию. Наука установила, что все интеллектуальные и моральные акты, отличающие человека от всех других видов животных — мышление, деятельность человеческого разума и проявления сознательной воли — имеют своим единственным источником безусловно более совершенную, но чисто материальную организацию человека без всякого духовного или нематериального вмешательства, одним словом, что это результат сочетания различных чисто физиологических функций мозга.

Значение этого открытия безмерно как для науки, так и для жизни. Благодаря ему становится наконец возможной наука о человеческом мире, включая антропологию, психологию, логику, мораль, социальную экономию, политику, эстетику, даже теологию и метафизику, историю, одним словом, всю социологию. Между человеческим и природным миром нет больше разрыва. Но, подобно тому как мир органический, являясь непрерывным и прямым развитием неорганического мира, существенно отличается от него наличием нового активного элемента, органической материи, произведенной не вмешательством некоей внеземной причины, а доныне нам неизвестными сочетаниями той же самой неорганической материи, которая, в свою очередь, на основании и в условиях этого неорганического мира, будучи его высшим результатом, производит все богатство растительной и животной жизни; точно так же человеческий мир, являясь непосредственным продолжением органического мира, существенно отличается от него новым элементом, мыслью, продуктом чисто физиологической деятельности мозга, производящей в то же время в этом материальном мире и в органических, и в неорганических условиях, последним резюме которых, так сказать, она является, все то, что мы называем интеллектуальным и моральным, политическим и социальным развитием человека, — историю человечества.

Для людей, мыслящих действительно логично, ум которых достиг уровня современной науки, единство Мира, или Бытия, является отныне установленным фактом. Но нельзя не признать, что этот факт, настолько простой и очевидный, что все противоречащее ему представляется нам теперь уже абсурдным, находится в явном противоречии со всемирным сознанием человечества, которое, несмотря на различие форм его проявления в истории, всегда единогласно высказывалось за существование двух различных миров: мира духовного и мира материального, мира божественного и мира реального. Начиная с грубых фетишистов, поклоняющихся в окружающем их мире действию сверхъестественной силы, воплощенной в некоем материальном объекте, все народы верили и доныне верят в существование какого-то божества.

Это впечатляющее единогласие имеет, по мнению многих, большее значение, чем все научные доказательства; и если логика малого числа последовательных, но одиноких мыслителей противоречит ему, тем хуже, говорят они, для этой логики, ибо единодушное согласие, всеобщее приятие какой-либо идеи всегда считалось самым убедительным доказательством ее истинности, и считалось не без основания, так как мнение всех и во все времена не может быть ошибочным. Оно должно корениться в какой-то необходимости, свойственной самой природе человечества. Но если правда, что в согласии с этой необходимостью человек испытывает безусловную потребность верить в существование какого-то бога, то в таком случае тот, кто не верит в него, является аномальным исключением, чудовищем, какова бы ни была логика, приведшая его к этому скептицизму.

Вот излюбленная аргументация теологов и метафизиков наших дней, даже прославленного Мадзини, который не может обойтись без доброго бога, чтобы основать свою аскетическую республику и заставить принять ее народные массы, чьей свободой и благоденствием он систематически жертвует ради величия идеального государства.

Таким образом, давность и всеобщность веры в бога оказываются, в противоположность всякой науке и всякой логике, неоспоримыми доказательствами существования бога. Но почему же? До времен Коперника и Галилея все, за исключением, быть может, пифагорейцев, верили, что Солнце вращается вокруг Земли: была ли эта вера доказательством истинности данного предположения? С самого начала исторического общества и до наших дней, всегда и везде имела эксплуатация подневольного труда рабочих масс, рабов или наемников властвующим меньшинством. Следует ли из этого, что эксплуатация паразитами чужого труда не есть несправедливость, грабеж или кража? Вот два примера, доказывающие, что аргументация наших современных деистов ничего не стоит.

И в самом деле, нет ничего более всеобщего и более древнего, чем абсурд, а истина, напротив, сравнительно молода, являясь всегда результатом, продуктом истории и никогда — ее началом. Ибо человек, по своему происхождению двоюродный брат, если не прямой потомок, гориллы, прошел путь от глубокой ночи животного инстинкта до света разума, что само по себе объясняет все его прошлые сумасбродства и утешает нас отчасти в его настоящих заблуждениях. Таким образом, вся история человека — не что иное, как его постепенное удаление от чистой животности путем созидания своей человечности. Отсюда следует, что древность идеи не только ничего не говорит в ее пользу, но и делает ее в

наших глазах подозрительной. Что касается всеобщности заблуждения, то оно доказывает лишь одно: тождественность человеческой природы во все времена и во всех климатах. И если все народы во все эпохи верили и верят в бога, то, не поддаваясь этому, конечно, бесспорному факту, который, однако, не сможет в наших умах возобладать ни над логикой, ни над наукой, мы должны просто отсюда заключить, что идея божества, исходящая, конечно, от нас самих, является неизбежным заблуждением в процессе развития человечества. И мы должны задать себе вопрос: как и почему она родилась, почему она до сих пор необходима громадному большинству человеческого рода?

Покуда мы не будем в состоянии дать себе отчет, каким образом идея сверхъестественного, или божественного, мира появилась и должна была непременно появиться в ходе естественного исторического развития человеческого ума и человеческого общества, до тех пор, как бы ни убеждала нас наука в абсурдности этой идеи, мы никогда не сможем разрушить ее в общественном мнении, поскольку, не зная этого, мы никогда не сможем бороться с этой идеей в самых глубинах человеческого существа, где она укоренилась. Обреченные на бесплодную и бесконечную борьбу, мы должны будем довольствоваться сражением с ней на поверхности, в тысячах ее проявлений. Абсурдность ее, едва сраженная ударами здравого смысла, тотчас же возродится в новой и не менее бессмысленной форме, ибо покуда корень веры в бога остается невредимым, он всегда будет давать новые ростки. Так, например, в некоторых кругах современного цивилизованного общества спиритизм стремится в настоящее время утвердиться на руинах христианства.

Более того, нам необходимо уяснить этот вопрос для себя самих, так как, сколько бы мы ни называли себя атеистами, до тех пор, пока мы не узнаем историю естественного зарождения идеи бога в человеческом обществе, мы всегда будем в той или иной степени находиться под властью отголосков этого всеобщего сознания, чья тайна, то есть естественная причина, нам так и не раскрыта. И ввиду природной слабости индивида перед лицом окружающей его социальной среды мы постоянно рискуем рано или поздно попасть в рабство религиозного абсурда. Примеры таких печальных обращений нередки в современном обществе.

Господа, мы более чем когда-либо убеждены в необходимости безотлагательно и полностью решить сейчас следующий вопрос.

Так как человек составляет со всей природой одно сущее и есть лишь материальный продукт неопределенного количества исключительно материальных причин, каким же образом могла возникнуть, утвердиться и так глубоко укорениться в человеческом сознании эта двойственность: предположение о существовании двух противоположных миров, одного духовного, другого материального, одного божественного, другого естественного?

Мы настолько убеждены, что от решения этого важного вопроса зависит наше окончательное и полное освобождение от цепей всякой религии, что просим у вас позволения изложить свои мысли по этому вопросу.

Многим покажется, пожалуй, странным, что в политическом, социалистическом сочинении обсуждаются вопросы метафизики и теологии. Но, по нашему глубочайшему убеждению,

эти вопросы не могут быть отделены от проблем социализма и политики. Реакционный мир под натиском непобедимой логики становится все более религиозным. Он поддерживает в Риме папу, он преследует в России естественные науки, во всех странах свои военные, гражданские, политические и социальные беззакония он защищает именем Бога, которого, в свою очередь, он яростно защищает в церквях и в школах с помощью лицемерно религиозной, раболепной, лъстивой, тяжеловесно-доктринерской науки и всеми другими средствами, находящимися в распоряжении Государства. Царство божие на небесах с соответствующим ему явным или замаскированным царством кнута и узаконенной эксплуатацией труда поработанных масс на земле — таков сегодня религиозный, социальный, политический и вполне логичный идеал реакционных партий в Европе. По противоположной причине революция, наоборот, должна быть атеистической: исторический опыт и логика доказали, что достаточно одного господина на небе, чтобы создать тысячи господ на земле.

Наконец не является ли социализм по самой своей сущности, которая состоит в осуществлении и свершении всех человеческих судеб здесь, на земле, а не на небе, завершением и, следовательно, отрицанием всякой религии, существование которой потеряет всякий смысл, как только ее стремления будут осуществлены?

Излагая свои мысли относительно происхождения религии, мы постараемся говорить как можно более кратко и конкретно.

Не углубляясь в философские спекуляции, мы считаем возможным признать за аксиому следующее положение. Все что существует, все существа, составляющие беспредельную совокупность Вселенной, все существующие в мире вещи, какой бы ни была их природа в качественном или количественном отношении, вещи большие, средние или бесконечно малые, близкие или бесконечно далекие, помимо воли и сознания постоянно оказывают друг на друга и каждая на всех непосредственные или опосредованные действия и противодействия, каковы, соединяясь в одно движение, составляют то, что мы называем взаимозависимостью, универсальной жизнью и причинностью. Называйте эту взаимозависимость Богом или Абсолютом, если так вам нравится, — нам все равно, — лишь бы вы не придавали этому Богу другого значения, кроме того, о котором мы только что сказали, — значения универсального, естественного, необходимого, но отнюдь не predetermined и не предвиденного соединения бесконечного множества частных действий и противодействий. Эту всегда подвижную и действенную взаимозависимость, эту универсальную жизнь мы всегда можем рационально предполагать, но мы никогда не сумеем охватить ее даже нашим воображением и тем более познать ее. Ибо мы можем познать лишь то, что доступно нашим чувствам, а они всегда способны уловить лишь бесконечно малую часть Вселенной. Само собой разумеется, мы принимаем эту взаимозависимость не как абсолютную и первую причину, а наоборот, как равнодействующую^[7], постоянно производимую и воспроизводимую одновременным действием всех частных причин, действием, которое и составляет универсальную причинность. Определив ее таким образом, мы можем теперь сказать, не опасаясь какой бы то ни было двусмысленности, что всеобщая жизнь творит миры. Это она определила геологическое, климатическое и географическое строение нашей Земли и, одев ее всем великолепием органической жизни, продолжает еще творить человеческий мир: общество с

его прошедшим, настоящим и будущим развитием.

Теперь ясно, что в творении, понятом в этом смысле, нет места ни предшествующим ему идеям, ни предустановленным, предначертанным законам. В действительном мире сначала есть факты — результат стечения бесчисленных влияний и условий, — только потом, вместе с думающим человеком, приходит осознание этих фактов и более или менее подробное и совершенное знание того, каким образом они произошли; когда мы замечаем частое или постоянное повторение одного и того же явления или образа действия в каком-то порядке фактов, то мы называем его законом природы.

Под словом природа мы подразумеваем не какую-либо мистическую, пантеистическую или субстанциальную идею, а просто-напросто сумму существ, фактов и реальных способов, которые производят эти факты. Очевидно, что в природе, определенной таким образом, благодаря стечению одних и тех же условий и влияний, возможно также благодаря однажды избранному направлению потока непрерывного творчества, сделавшемуся постоянным от слишком частого повторения, очевидно, говорим мы, что в некоторых определенных порядках фактов всегда воспроизводятся одни и те же законы и только благодаря этому постоянству образа действий в природе человеческий ум смог установить и познать то, что мы называем механическими, физическими, химическими и физиологическими законами; только им объясняется чуть ли не постоянное повторение как растительных, так и животных родов, видов и разновидностей, в которых до сих пор протекало развитие органической жизни на Земле. Это постоянство и эта повторяемость совсем не абсолютны. Они всегда оставляют широкое поле для так называемых аномалий и исключений, а это совершенно неверное их обозначение, ибо факты, к которым оно относится, показывают только, что эти общие правила, принятые нами за естественные законы, будучи не более чем абстракциями, выделенными нашим умом из действительного течения вещей, не в состоянии охватить, исчерпать, объяснить все беспредельное богатство развития. Кроме того, как это превосходно доказал Дарвин, эти так называемые аномалии, часто сочетаясь друг с другом и тем самым все больше закрепляясь, создавая, так сказать, новые привычные образы действия, новые способы воспроизводства и существования в природе, являются тем путем, следуя которому органическая жизнь порождает новые виды и разновидности. Именно так, начавшись с едва организованной простой клетки, органическая жизнь проходит через все трансформации вначале растительной, а потом животной организации и создает человека.

Останется ли человек последним и самым совершенным органическим созданием на этой земле? Кто мог бы ответить на этот вопрос и поклясться, что через несколько десятков или сотен веков от самой высшей разновидности человеческого вида не произойдет вид существ, превосходящих человека, которые будут относиться к нему так же, как он сам сейчас относится к горилле? Наше тщеславие может быть спокойно. Природа действует очень медленно, и в настоящем состоянии человечества ничто не предвещает вероятности рождения более высокого вида существ. Впрочем, разве природа не продолжает свое непосредственное дело непрерывного творения в историческом развитии человеческого мира? Не ее вина, если мы в нашем разуме отделили этот мир, человеческое общество от того, что мы называем исключительно природным миром.

Причина этого отделения — в самой природе нашего разума, который существенным образом отличает человека от животных всех других видов. Мы должны все же признать, что человек — не единственное разумное животное на земле. Напротив, сравнительная психология доказывает, что нет животного, которое было бы совершенно лишено ума, и чем ближе какой-либо вид по своей организации и в особенности по развитости своего мозга к человеку, тем более развит и значителен его ум. Но только у человека развитие разума достигает такого уровня, который может быть назван способностью мыслить, то есть комбинировать представления как о внешних, так и о внутренних предметах, данных нам чувствами, создавать из них группы, затем сравнивать и снова комбинировать эти различные группы, которые уже являются не реальными сущностями — объектами наших чувств, а понятиями, созданными в нас первым действием способности, которую мы называем рассудком; эти понятия, оставшиеся в нашей памяти, соединяются затем благодаря этой же способности и образуют то, что мы называем идеями; наконец, из всего этого человеческий разум выводит следствия или логически необходимые применения. Мы достаточно часто встречаем людей, которые, увы, еще не достигли полного осуществления этой способности, но мы никогда не видели и даже не слышали, чтобы какое-нибудь существо низшего вида обладало этой способностью, разве что приведут в пример Валаамову ослицу и некоторых других животных, предоставляемых любой религией для веры и почитания. Итак, мы можем сказать, не опасаясь быть опровергнутыми, что из всех животных, существующих на земле, мыслит один человек.

Он один одарен этой силой абстракции, усиленной и развитой в человеческом виде вековым упражнением. Способность эта постепенно внутренне возвышает человека над всеми окружающими предметами, над всем так называемым внешним миром и даже над ним самим, индивидом, и позволяет ему задумать, создать идею тотальности Существ, Вселенной, Бесконечного или Абсолюта — идею совершенно абстрактную и, если хотите, лишенную всякого содержания. Тем не менее эта идея всемогуща и является причиной всех дальнейших завоеваний человека, ибо она одна вырывает человека из пресловутого блаженства и тупой невинности животного рая и обрекает его на победы и бесконечные муки беспредельного развития...

Благодаря этой способности к абстракции человек возвышается над непосредственным давлением, которое все внешние предметы неизбежно оказывают на каждого индивида, может сравнивать одни предметы с другими и исследовать их взаимоотношения. Вот начало анализа и экспериментальной науки. Благодаря той же способности человек раздваивается и, отделяясь в себе от самого себя, возвышается над своими собственными побуждениями, инстинктами и различными желаниями как над преходящими и частными, что дает ему возможность сравнивать их, подобно тому, как он сравнивает внешние предметы и движения, и становиться на сторону одних против других, сообразуясь со сформировавшимся в нем (социальным) идеалом, — вот пробуждение сознания и того, что мы называем волей.

Обладает ли человек в самом деле свободной волей? И да и нет, в зависимости от того, как ее понимать. Если под свободной волей подразумевается свобода выбора, т. е. предполагаемая способность человеческого индивида спонтанно самоопределяться, самостоятельно и независимо от всякого внешнего влияния; если же, подобно тому как это

делали все религии и все метафизики, с помощью так называемой свободы воли хотят вырвать человека из потока всеобщей причинности, определяющей существование всякой вещи и делающей каждую вещь зависящей от всех остальных, то нам следует только отбросить эту свободу, как бессмыслицу, ибо ничто не может существовать вне причинности.

Непрестанное действие и противодействие целого на всякую отдельную точку и всякой отдельной точки на целое составляют, как мы сказали, жизнь, общий и высший закон, тотальность миров, которая всегда есть одновременно и производящее, и производное. Вечно деятельная, всеобщая взаимозависимость, эта взаимная причинность, которую мы будем называть отныне природой, создала, как мы сказали, среди бесчисленного множества других миров нашу Землю, со всей лестницей ее существ, от минерала до человека. Она постоянно воспроизводит их, развивает, кормит, сохраняет, затем, когда наступает их срок, а часто и раньше, чем он наступил, она их уничтожает или, скорее, превращает в новые существа. Природа — это всемогущество, по отношению к которому не может быть никакой независимости или автономии, это высшее сущее, которое охватывает и пронизывает своим непреодолимым действием бытие всех сущих, и среди живых существ нет ни одного, которое бы не несло в себе, конечно, в более или менее развитом состоянии, чувства или ощущения этого высшего влияния и этой абсолютной зависимости. Так вот, это ощущение и это чувство и составляют основу всякой религии.

Как видите, религия, подобно всему человеческому, имеет свой первоисток в животной жизни. Нельзя сказать, что какое-либо животное, за исключением человека, имеет религию, ибо самая грубая религия предполагает все-таки известную степень рефлексии, до которой еще не поднялось ни одно животное, кроме человека. Но столь же невозможно отрицать, что в существовании всех без исключения животных имеются все составные, так сказать, материальные элементы религии, за исключением, конечно, ее идеальной стороны, той именно, которая рано или поздно ее уничтожит, — мысли. В самом деле, какова действительная сущность всякой религии? Это именно чувство абсолютной зависимости преходящего индивида от вечной и всемогущей природы.

Нам трудно обнаружить это чувство и анализировать все его проявления у животных низших видов; однако мы можем сказать, что инстинкт самосохранения, наблюдаемый в относительно простых организациях, конечно, в меньшей степени, чем в высших организациях, — это своего рода обычная мудрость, образующаяся в каждой под влиянием этого чувства, которое, как мы уже сказали, есть не что иное, как религиозное чувство. У животных, наделенных более совершенной организацией и стоящих ближе к человеку, это чувство проявляется более заметно, например, в инстинктивном и паническом страхе, охватывающем их иногда при приближении какой-нибудь крупной природной катастрофы вроде землетрясения, лесного пожара или сильной бури. Вообще можно сказать, что страх является одним из преобладающих чувств в животной жизни. Все животные, живущие на свободе, пугливы, и это доказывает, что они живут в непрестанном инстинктивном страхе, что они всегда испытывают чувство опасности, т. е. ощущают присутствие всемогущего влияния, которое их преследует, пронизывает и охватывает всегда и везде. Этот страх, страх Божий, как сказали бы теологи, есть начало мудрости, т. е. религии. Но у животных он не становится религией, ибо им недостает той способности мыслить, которая фиксирует

чувство, определяет его объект и превращает его в сознание, в мысль. Таким образом, совершенно справедливо утверждают, что человек по природе религиозен; он религиозен подобно всем другим животным — но он один на этой земле осознает свою религиозность.

Говорят, что религия — это первое пробуждение разума; верно, но пробуждение в неразумной форме. Религия, как мы только что видели, начинается со страха. И в самом деле, человек, пробуждаясь с первыми лучами того внутреннего солнца, которое мы называем самосознанием, и медленно, шаг за шагом выходя из гипнотического полусна, из чисто инстинктивного существования, в котором он находился в состоянии полнейшего неведения, т. е. животности, будучи к тому же рожденным, подобно всякому животному, в страхе перед внешним миром, который, правда, его производит и кормит, но который в то же время его притесняет, давит и грозит каждую минуту поглотить, — человек непременно должен был обратить свою зарождающуюся рефлексию именно на этот страх. Можно предположить, что у первобытного человека при пробуждении разума этот инстинктивный ужас должен был быть сильнее, чем у животных всех других видов. Прежде всего потому, что он рождается менее вооруженным, чем другие животные, и его детство более продолжительно; затем потому, что эта самая рефлексия, едва расцветшая и еще не достигшая достаточной степени зрелости и силы, чтобы распознавать внешние предметы и пользоваться ими, должна была тем не менее вырвать человека из единения согласия и инстинктивной гармонии с природой, в которой он находился, подобно своему двоюродному брату горилле, покуда в нем не пробудилась мысль. Так, рефлексия изолировала его от природной среды, которая, становясь, таким образом, для него чуждой, должна была являться ему сквозь призму воображения, возбужденного и расширенного под действием зарождающейся рефлексии, в виде темной и таинственной силы, гораздо более враждебной и опасной, чем она есть в действительности.

Для нас чрезвычайно трудно, если не невозможно, представить себе первые религиозные чувства и представления дикого человека. В подробностях они, без сомнения, должны были быть столь же разнообразны, сколь разнообразны были характеры первобытных народностей, которые их испытывали, а также сколь разнообразны были климатические и природные условия и все другие внешние обстоятельства и определения, в среде которых эти чувства развивались. Но так как, при всем этом, это были все же человеческие чувства и представления, то, несмотря на это великое множество особенностей, они должны были сводиться к некоторым одинаковым моментам общего характера, которые мы и постараемся определить. Каким бы ни было происхождение различных человеческих групп и расселение человеческих рас по земле, имели ли все люди родоначальником одного Адама — гориллу или двоюродного брата гориллы, или же они произошли от нескольких предков, созданных природой в различных местах и в различные эпохи, независимо друг от друга, способность, создающая и составляющая собственно человеческую природу всех людей, а именно: рефлексия, способность к абстракции, разум, мысль, одним словом, способность создавать идеи, а также законы, определяющие проявление этой способности, всегда и везде тождественны, всегда и везде одинаковы, и никакое человеческое развитие не могло бы происходить вопреки этим законам. Это дает нам право предположить, что основные фазы, отмеченные в начальном религиозном развитии одного какого-нибудь народа, должны воспроизводиться в развитии всего остального населения Земли.

Судя по единодушным отзывам путешественников, как тех, которые в прошлом столетии посетили острова Океании, так и тех, которые в наши дни проникли в Африку, фетишизм должен быть самой первой религией, религией всех диких племен, которые в наименьшей степени удалились от естественного состояния. Но фетишизм — не что иное, как религия страха. Он является первым человеческим выражением того ощущения абсолютной зависимости, смешанного с инстинктивным ужасом, которое мы находим в основе всякой животной жизни и которое, как мы уже сказали, составляет религиозное отношение индивидов даже самых низших видов к всемогуществу природы. Кто не знает, какое влияние и впечатление производят на всех живых существ, не исключая даже растения, великие регулярные явления природы, такие, как восход и заход солнца, лунный свет, повторение времен года, чередование холода и тепла, постоянные и своеобразные воздействия океана, гор, пустынь, или же природные бедствия: бури, затмения, землетрясения, а также столь разнообразные и взаимно разрушительные отношения животных между собой и с различными видами растений — все это составляет для каждого животного совокупность условий существования, характер, природу и, мы могли бы даже сказать, особый культ, ибо у всех животных, у всех живых существ вы найдете своего рода обожание природы, смешанное со страхом и радостью, надеждой и беспокойством, очень похожее, как чувство, на человеческую религию. Здесь нет недостатка даже в поклонах и молитвах. Посмотрите на домашнюю собаку, молящую о ласке или взгляде своего хозяина; разве это не изображение человека, стоящего на коленях перед своим богом? Не переносит ли эта собака при помощи своего воображения и даже начатков рефлексии, развитой в ней опытом, подавляющее всемогущество природы на своего хозяина, подобно тому, как верующий человек переносит его на бога? В чем же различие между религиозным чувством человека и собаки? Даже не в рефлексии, а лишь в степени рефлексии, или же в способности фиксировать и понимать это чувство как абстрактную мысль и обобщать через наименование, ибо человеческая речь имеет ту особенность, что, не будучи способной назвать действительные вещи, непосредственно действующие на наши чувства, она выражает лишь их понятие или абстрактную общность. А так как речь и мысль — это две различные, но нераздельные формы одного и того же акта человеческой рефлексии, то эта последняя, фиксируя предмет страха и обожания животного или первого естественного человеческого культа, универсализирует его, превращает в абстрактное сущее и стремится обозначить его каким-нибудь именем. Предметом действительного почитания того или иного индивидуума всегда остается этот камень, этот, а не другой, кусок дерева, но коль скоро он был словесно обозначен, он становится предметом или абстрактным понятием: камнем, куском дерева вообще. Так, с первым пробуждением мысли, выраженной словом, начинается собственно человеческий мир, мир абстракций.

Благодаря этой способности к абстракции, как мы уже сказали, человек, рожденный, произведенный природой, творит для себя среди природы и в самих ее условиях второе бытие, соответствующее его идеалу и развивающееся вместе с ним.

Все, что живет, добавим мы для большей ясности, стремится осуществиться во всей полноте своего существа. Человек, существо одновременно живое и мыслящее, чтобы реализовать себя, должен сначала познать самого себя. Вот причина громадного отставания, наблюдаемого нами в его развитии, и по этой причине, чтобы достигнуть современного состояния общества в самых цивилизованных странах — состояния, столь мало еще

соответствующего идеалу, к которому мы ныне стремимся, — человеку потребовалось несколько сотен веков... Можно было бы сказать, что в поисках самого себя, после всех физиологических и исторических странствий, человек должен был исчерпать все возможные глупости и все возможные беды, прежде чем сумел осуществить то малое количество разумности и справедливости, что царит ныне в мире.

Последним пределом, высшей целью всего человеческого развития является свобода. Ж. Ж. Руссо и его ученики ошибались, ища ее в начале истории, когда человек, еще лишенный всякого самосознания и, следовательно, неспособный заключить какой бы то ни было договор, находился под игом той фатальности естественной жизни, которой подчиняются все животные и от которой человек смог в известном смысле освободиться лишь благодаря последовательному использованию разума, развивавшегося, правда, очень медленно на протяжении всей истории. Постепенно он познавал законы, управляющие внешним миром, а также законы, присущие нашей собственной природе; он их, так сказать, присваивал, превращая их в идеи — почти спонтанные создания нашего собственного мозга, — и делал так, что, продолжая, подчиняться этим законам, человек подчинялся теперь только собственным мыслям. По сравнению с природой в этом — единственное достоинство и вся возможная свобода человека. У него никогда не будет другой, ибо законы природы неизменны, неизбежны; они являются основанием всего сущего и определяют наше бытие, так что никто не может восстать против них, не убедившись тотчас же в бессмысленности этого и не обрекая себя на верное самоубийство. Но, познавая и осваивая их своим умом, человек возвышается над непосредственной властью внешнего мира и, становясь, в свою очередь, творцом, повинуюсь с этих пор лишь собственным идеям, он более или менее преобразует этот мир сообразно своим возрастающим потребностям и как бы привносит в него свой человеческий образ.

Таким образом, то, что мы называем человеческим миром, не имеет другого непосредственного творца, кроме человека, который создает его, отвоевывая шаг за шагом у внешнего мира и собственной животности свою свободу и человеческое достоинство. Он завоевывает их, влекомый независимой от него силой, непреодолимой и равно присущей всем живым существам. Эта сила — всеобщий поток жизни, тот самый, который мы называем всеобщей причинностью, природой и который проявляется во всех живых существах, растениях или животных как стремление каждого осуществить условия, необходимые для жизни своего вида, т. е. удовлетворить свои потребности. Это стремление, существенное и высшее проявление жизни, составляет основу того, что мы называем волей. Фатальная и непреодолимая у всех животных, не исключая самого цивилизованного человека, инстинктивная, можно было бы даже сказать, механическая — в низших по организации, более сознательная — в высших видах, она полностью раскрывается только в человеке, который благодаря своему разуму, возвышающему его над каждым из его инстинктивных побуждений и позволяющему ему сравнивать, критиковать и упорядочивать свои собственные потребности, один среди всего живого на Земле обладает сознательным самоопределением, свободной волей.

Само собой разумеется, эта свобода человеческой воли во всеобщем потоке жизни или этой абсолютной причинности, где каждая отдельная воля — это как бы только ручеек, имеет лишь тот смысл, который ей придает рефлексия в противоположность механическому

действию или даже инстинкту. Человек улавливает и понимает природную необходимость, которая, отражаясь в его мозгу, возрождается в нем посредством еще мало изученного реактивного физиологического процесса в виде логической последовательности его собственных мыслей. Это понимание дает ему, при всей его нисколько не прерывающейся абсолютной зависимости, чувство самоопределения, сознательной спонтанной воли и свободы. Без полного или частичного самоубийства ни один человек никогда не освободится от своих естественных желаний, но он может их регулировать и модифицировать, стремясь все более соотносить их с тем, что в различные периоды своего интеллектуального и нравственного развития называет справедливым и прекрасным.

В сущности, основные моменты самого утонченного человеческого и самого темного животного существования суть и всегда останутся тем же самым: рождаться, развиваться и расти, работать, чтобы есть и пить, чтобы иметь кров и защищаться, поддерживать свое индивидуальное существование в социальном равновесии своего вида, любить, размножаться, затем умирать... К этим моментам только у человека прибавляется новый: мыслить и познавать — способность и потребность, которые обнаруживаются, правда, в меньшей, но уже весьма ощутимой степени и у животных наиболее близких по организации к человеку, ибо, по-видимому, в природе не существует абсолютных качественных различий, и все качественные различия сводятся, в конце концов, к количественным.

Только у человека эти способности становятся настолько настоятельными и господствующими, что мало-помалу преобразуют всю его жизнь. Как верно заметил один из величайших мыслителей наших дней, Людвиг Фейербах, человек делает все, что делают животные, но только он должен делать это все более и более человечно. В этом все различие, но оно огромно[8]. Оно включает в себе всю цивилизацию, со всеми чудесами промышленности, науки и искусств, со всем религиозным, эстетическим, философским, политическим, экономическим и социальным развитием человечества, — одним словом, весь мир истории. Человек создает этот исторический мир силой своей деятельности, которую вы обнаружите во всех живых существах и которая составляет самую сущность всей органической жизни и стремится ассимилировать и трансформировать внешний мир согласно потребностям каждого. Деятельности, следовательно, инстинктивной и неизбежной, предшествующей всякому мышлению, но которая, будучи озарена разумом человека и направлена его волей, преобразуется в нем и для него в сознательный и свободный труд.

Только посредством мысли человек приходит к сознанию своей свободы в производившей его природной среде; но только трудом он ее осуществляет. Мы отметили, что деятельность, составляющая труд, т. е. медленная работа по преобразованию поверхности нашей планеты физической силой каждого живого существа сообразно с потребностями каждого, встречается более или менее развитой на всех стадиях органической жизни. Но она начинает быть собственно человеческим трудом только тогда, когда, направленная человеческим разумом и сознательной волей, служит удовлетворению не только строго определенных и неизменных потребностей исключительно животной жизни, но и потребностей мыслящего существа, которое приобретает свою человечность, утверждая и осуществляя в мире свою свободу.

Исполнение этой безмерной, бесконечной задачи является не только делом интеллектуального и нравственного развития, но также делом материального освобождения. Человек действительно становится человеком, получает возможность развиваться и внутренне совершенствоваться лишь при условии, что он порвал, хотя бы в какой-то степени, рабские цепи, налагаемые природой на всех своих детей. Цепи эти — голод, всякого рода лишения, боль, влияние климата, времен года и вообще тысячи условий животной жизни, удерживающих человеческое существо в чуть ли не абсолютной зависимости от окружающей его среды; это постоянные опасности, которые в виде природных явлений угрожают человеку и подавляют его со всех сторон: этот непрестанный страх, составляющий сущность всякого животного существования и до того подавляющий природного дикого индивида, что он не находит в себе ничего, что воспротивилось бы этому страху и победило бы его... одним словом, присутствуют все элементы самого абсолютного рабства. Первый шаг, который делает человек, чтобы освободиться от этого рабства, состоит, как мы уже сказали, в акте разумной абстракции, который, внутренне возвышая человека над окружающими вещами, позволяет ему исследовать их отношения и законы. Но вторым шагом является непременно материальный акт, определяемый волей и направляемый более или менее глубоким познанием внешнего мира: это применение мускульной силы человека к преобразованию этого мира сообразно своим возрастающим потребностям. Эта борьба человека, сознательного труженика, против матери-природы не является бунтом против нее или ее законов. Он использует полученное им знание этих законов лишь с целью стать сильнее и обезопасить себя от грубых нападений и случайных катастроф, а также от периодических и регулярных явлений физического мира. Только познание и самое почтительное соблюдение законов природы делает человека способным, в свою очередь, покорить ее, заставить служить его целям и превратить поверхность земного шара во все более и более благоприятную для развития человечества среду.

Как видите, способность к отвлечению, источник всех наших знаний и всех наших идей, является также единственной причиной всякого человеческого освобождения. Но первое пробуждение этой способности, являющейся не чем иным, как разумом, не приводит тотчас же к свободе. Когда она начинает действовать в человеке, медленно освобождаясь от пелены животной инстинктивности, то вначале она проявляется не в виде разумной рефлексии, обладающей знанием и познанием своей собственной деятельности, а в виде рефлексии воображения или неразумия. Она постепенно освобождает человека от природного рабства, тяготеющего над ним с колыбели, только для того, чтобы тотчас же отдать его в новое рабство, в тысячу раз более суровое и ужасное — в рабство религии.

Именно воображение человека превращает естественный культ, элементы и следы которого мы находим у всех животных, в культ человеческий, в элементарной форме фетишизма. Мы обратили внимание на животных, инстинктивно поклоняющихся великим явлениям природы, действительно оказывающим непосредственное и могущественное влияние на их существование, но мы никогда не слыхали о животных, поклоняющихся безобидному куску дерева, тряпке, кости или камню. Между тем мы находим этот культ в первобытной религии дикарей и даже в католицизме. Как объяснить эту столь странную, по крайней мере на первый взгляд, аномалию, представляющую человека, с точки зрения здравого смысла и понимания действительности, стоящим гораздо более низко, чем самые скромные животные?

Эта абсурдность есть продукт воображения дикаря. Он не только чувствует, подобно другим животным, всемогущество природы, он делает его предметом своей непрерывной рефлексии, фиксирует и обобщает его посредством какого-нибудь наименования, делает его центром, вокруг которого группируются все его детские воображения. Еще неспособный охватить своей бедной мыслью Вселенную, даже земной шар и даже столь ограниченную среду, в которой он родился и живет, он повсюду ищет, где же именно находится то всемогущество, ощущение которого, теперь уже осознанное и закрепленное, преследует его. И посредством наблюдения, игры своей неразвитой фантазии, которую нам сейчас понять трудно, он привязывает его к этому куску камня, к этой тряпке, к этому камню... таков чистый фетишизм, самая религиозная, т. е. самая абсурдная, из всех религий.

Вслед за фетишизмом и часто в одно время с ним идет культ колдунов. Это культ, если и не намного более разумный, то во всяком случае более естественный: он удивляет нас меньше чистого фетишизма, ибо мы к нему привыкли. Мы ведь еще сегодня окружены колдунами: спириты, медиумы, ясновидящие, всякие магнетизеры и даже священники римской католической, а также восточной греческой церкви, которые утверждают, что они имеют власть заставить Бога с помощью каких-то таинственных формул сойти на воду или же воплотиться в хлебе и вине. Разве все эти насильники покоренного их заклинаниями божества не колдуны? Правда, их божество, развивавшееся в течение нескольких тысячелетий, гораздо более сложно, чем божество первобытного колдовства, объектом которого является только зафиксированный, но еще не определенный образ всемогущества, без какого-либо другого интеллектуального или морального атрибута. Различие между добром и злом, справедливым и несправедливым здесь еще неизвестно; не знают, что такое божество любит и что оно ненавидит, что оно хочет и чего не хочет, оно ни доброе, ни злое — оно всемогуще и больше ничего. Однако божественный характер уже начинает вырисовываться; божество эгоистично и тщеславно, оно любит комплименты, коленопреклонение, унижение и заклятие людей, их обожание и жертвоприношения, — и оно преследует и жестоко наказывает тех, кто не хочет ему поклониться: бунтовщиков, гордецов, нечестивцев. Как известно, это основная черта божественной природы древних и современных богов, созданных человеческим неразумием. Существовало ли когда-нибудь в мире столь завистливое, тщеславное, эгоистичное, кровавое существо, как Иегова евреев или Бог-отец христиан?

В культе первобытного колдовства божество или это неопределимое всемогущество является вначале как неотделимое от личности колдуна: он сам — бог, подобно фетишу. Но с течением времени роль сверхъестественного человека, человека-бога, становится невозможной для реального человека и в особенности для дикаря, который не имеет никаких средств укрыться от нескромного любопытства верующих и остается с утра до вечера открытым для наблюдения. Здравый смысл, практический ум дикого племени, продолжающие развиваться параллельно его религиозному воображению, доказывают ему в конце концов невозможность того, чтобы человек, доступный всем человеческим слабостям и немощам, был богом. Колдун остается для народа сверхъестественным существом, но только иногда, когда он одержим. Но чем же он одержим? Всемогуществом, богом... Значит, божество находится обычно вне колдуна. Где его искать? Фетиш, бог-вещь превзойден, как и колдун, человеко-бог. Все эти трансформации в первобытные времена могли занимать столетия. Дикарь, уже продвинувшийся в своем развитии, обогатившийся

опытом и традициями многих веков, ищет теперь божество вдали от себя, но все еще среди реально существующего: в солнце, в луне, в звездах. Религиозная мысль уже начинает охватывать вселенную.

Как мы уже сказали, человек смог достигнуть этого пункта лишь по прошествии долгого ряда веков. Его способность отвлеченно мыслить, его разум развились, окрепли, изошрились в практическом познании окружающих его вещей и в наблюдении их отношений и взаимной причинности, тогда как повторяемость некоторых явлений дала ему начальное представление о законах природы. Человек начинает интересоваться совокупностью явлений и их причинами; он их разыскивает. В то же время он начинает познавать самого себя и благодаря той же способности к абстракции, которая позволяет ему внутренне подниматься мыслью над самим собою и делать себя объектом рефлексии, он начинает отделять свое материальное и жизненное существо от своего мыслящего существа, внешнее от внутреннего, свое тело от своей души. Но раз это различие открыто им и зафиксировано, то он с естественной необходимостью переносит его на своего бога и начинает искать невидимую душу этого видимого мира. Так должен был родиться религиозный пантеизм индусов.

Мы должны остановиться на этом, ибо именно здесь начинается, собственно, религия в полном смысле этого слова и вместе с ней теология и метафизика. До сих пор религиозное воображение человека, одержимое закрепившимися представлениями о всемогуществе, шло естественным образом, ища причину и источник этого всемогущества путем экспериментального исследования, вначале в самых близких предметах, в фетишах, потом в колдунах, еще позже в значительных явлениях природы, наконец, в звездах, но всегда приписывая его какому-нибудь действительному и видимому предмету, каким бы далеким он ни был. Теперь человек предполагает существование духовного, внемирового, невидимого бога. С другой стороны, до сих пор его боги были ограниченными и обособленными существами среди множества других небожественных существ, одаренными всемогуществом, но все же реально существующими. Теперь он впервые полагает универсальное божество: Существо Существ, субстанцию и творца всех ограниченных и обособленных Существ, всеобщую душу всей Вселенной, Великое Целое. Вот начало настоящего бога и вместе с ним настоящей религии.

Мы должны теперь исследовать, каким путем человек пришел к этому результату, дабы познать по самому его историческому происхождению истинную природу божества.

Весь вопрос сводится к следующему: каким образом зарождаются в человеке представление о Вселенной и идея ее единства? Начнем с того, что у животного представление о Вселенной не может существовать, ибо это не есть предмет, непосредственно данный ему чувствами, подобно всем окружающим его реальным предметам, большим или малым, далеким или близким, — это абстрактное сущее, а потому может существовать лишь для способности к абстрактному мышлению, т. е. для одного лишь человека. Рассмотрим же, каким образом это представление формируется у человека. Человек видит себя окруженным внешними предметами: сам он, будучи живым телом, является таким предметом для собственной мысли. Все эти предметы, которые он последовательно и медленно учится познавать, находятся между собой в определенных

отношениях, которые он также более или менее познает; и тем не менее, несмотря на эти отношения, сближающие их, но не соединяющие, не сливающие их в одно, предметы остаются вне друг друга. Внешний мир, таким образом, представляется человеку как бесконечное разнообразие отдельных и отличных друг от друга предметов, действий и отношений без малейшей видимости единства; это неопределенное рядоположение, но не единство. Человеческий разум наделен способностью к абстракции, которая позволяет ему, после того как он медленно обошел и по отдельности исследовал, один за другим, множество предметов, охватить их в мгновение ока в едином представлении, соединить их в одной и той же мысли. Итак, именно мысль человека создает единство и переносит его на многообразие внешнего мира.

Отсюда следует, что это единство не является конкретным и реальным сущим, а абстрактным, созданным исключительно способностью человека к абстрактному мышлению. Мы говорим: способность к абстракции, ибо для того, чтобы соединить столько различных предметов в единое представление, наша мысль должна отвлечься от всего, что составляет различие между ними, т. е. от их раздельного и реального существования, и отметить лишь то, что они имеют общего; в результате, чем больше предметов объемлет мыслимое нами единство, чем больше оно возвышается и чем больше разрешается уловленное им общее составляющее его положительное определение, его содержание, — тем более абстрактным и лишенным реальности оно становится. Жизнь со всем своим преходящим изобилием и великолепием находится внизу, в разнообразии, — смерть со своей вечной и возвышенной монотонностью пребывает наверху, в единстве. Поднимитесь с помощью той же способности к абстракции все выше и выше, уйдите за пределы земного мира, охватите в одной мысли солнечный мир, представьте себе это возвышенное единство: что же вам останется для его заполнения? Дикарю было бы непросто ответить на этот вопрос! Но мы ответим за него: останется материя с тем, что мы называем силой абстракции, движущая материя с различными феноменами, такими как свет, теплота, электричество и магнетизм, которые, как это теперь доказано, являются различными проявлениями одного и того же. Но если в силу той же не знающей пределов способности к отвлечению вы подниметесь еще выше, выше Солнечной системы и соедините в своей мысли не только эти миллионы солнц, сияние которых мы видим на небосклоне, но также бесконечное множество других солнечных систем, которые мы не видим и никогда не увидим, но чье существование мы предполагаем, ибо наши мысли по той самой причине, что деятельность абстракции не знает пределов, отказывается верить, чтобы Вселенная, т. е. тотальность всех существующих миров, могла бы иметь предел или конец, — затем, опять же мысленно отвлекаясь от отдельного существования каждого из существующих миров, если вы попытаетесь представить себе единство этого бесконечного мира — что у вас останется для его определения и заполнения? Одно слово, единственная абстракция: неопределенное Сущее, т. е. неподвижность, пустота, абсолютное ничто — Бог.

Бог — это абсолютная абстракция, собственный продукт человеческой мысли; как сила абстракции, оставив позади все известные существа, все сущее мира, и освободившись тем самым от всякого реального содержания, превратившись уже в абсолютный мир, не узнавая себя в этой возвышенной наготе, он предстает сам перед собой как единственное и высшее Существо.

Нам могут возразить, что мы сами говорили на предыдущих страницах о действительном единстве 'Вселенной, определив которое как универсальную взаимозависимость или причинность, как единственное всемогущество, управляющее всем и ощущаемое в той или иной степени всеми живыми существами, теперь как будто бы отрицаем его. Но нет, мы его вовсе не отрицаем, мы лишь утверждаем, что между этим реальным всеобщим единством и идеальным единством, к которому стремится и которое создает путем абстракции религиозная и философская метафизика, нет ничего общего. Мы определили первое как беспредельную сумму вещей или, скорее, как сумму непрерывных трансформаций всех реальных сущих, их постоянных действий и противодействий, которые, соединяясь в одно движение, образуют, как мы сказали, так называемую всеобщую взаимозависимость, или причинность. Мы прибавили, что понимаем эту взаимозависимость не как абсолютную и первую причину, а напротив, как равнодействующую, постоянно производимую и воспроизводимую одновременным действием всех частных причин, — действием, которое и составляет собственно универсальную причинность — вечно творящую и творимую. Определив ее таким образом, мы можем сказать, не боясь более никакого недоразумения, что эта универсальная причинность творит миры. И хотя мы очень настойчиво прибавляли, что она это делает без какой-либо предшествующей мысли или воли, без всякого плана, без преднамеренности или предопределенности — ведь у нее нет никакого отдельного или предшествующего существования помимо непрерывной самореализации, и она есть не что иное, как абсолютная равнодействующая, — тем не менее мы признаем теперь, что это выражение не является ни удачным, ни точным и что, несмотря на все добавленные объяснения, оно все-таки может привести к недоразумению, до того мы привыкли связывать с этим словом творение мысль о сознательном творце, о творце, отдельном от своего произведения. Мы должны были бы сказать, что каждый мир, каждое существо бессознательно и непроизвольно производится, рождается, развивается, живет, умирает и превращается в новое существо под всемогущим, абсолютным влиянием всеобщей взаимозависимости и, чтобы выразить нашу мысль еще более точно, мы добавим теперь, что реальное единство Вселенной есть не что иное, как абсолютная взаимозависимость и бесконечность ее реальных превращений, ибо непрерывное изменение каждого отдельного существа составляет единственную, подлинную реальность каждого, и Вселенная — не что иное, как история без границ, без начала и без конца. Подробностям этой истории нет конца. Человеку всегда будет дано познать бесконечно малую долю. Наше звездное небо с множеством солнц образует лишь незаметную точку в неизмеримости пространства, и хотя мы можем объять его взором, мы никогда о нем почти ничего не узнаем. Мы вынуждены удостовериться некоторым познанием нашей Солнечной системы, относительно которой мы должны предположить, что она находится в совершенной гармонии с остальной Вселенной; ибо, если бы не было этой гармонии, то или она должна была установиться, или же наша Солнечная система погибла бы. Мы уже неплохо знаем последнюю с точки зрения небесной механики и начинаем познавать ее также с точки зрения физики, химии и даже геологии. Наша наука с трудом перейдет этот предел. Если мы хотим более конкретного познания, мы должны придерживаться нашего земного шара. Мы знаем, что он возник во времени, и мы предполагаем, что через некоторое, неизвестное нам число веков он осужден на гибель, — как рождается и погибает или, скорее, трансформируется все, что существует.

Каким образом наш земной шар, бывший вначале раскаленной, газообразной, несравненно более легкой, чем воздух, материей, сгустился, охладился, сформировался, через какой

нескончаемый ряд геологических изменений он должен был пройти, прежде чем на его поверхности появилось все это бесконечное богатство органической жизни, начиная с первой и самой простой клетки и кончая человеком? Как он изменялся и продолжает свое развитие в историческом и социальном мире человека? Куда мы идем, влекомые высшим и фатальным законом непрестанного изменения?

Вот единственно доступные нам вопросы, единственные, которые могут и должны быть действительно охвачены, детально изучены и решены человеком. Эти вопросы, как мы уже сказали, будучи неуловимым моментом безграничного и неопределимого вопроса о Вселенной, являют, тем не менее, нашему уму истинно бесконечный мир — не в божественном, т. е. абстрактном смысле этого слова, не в смысле верховного существа, созданного религиозной абстракцией, нет, наоборот, бесконечный по богатству своих подробностей, которое никогда не смогут исчерпать никакое наблюдение и никакая наука.

И для того, чтобы познать этот мир, наш бесконечный мир, недостаточно одной абстракции. Она снова привела бы нас к Богу, к Верховному Существу, к ничто. Используя эту способность к абстракции, без которой мы бы никогда не смогли возвыситься от низшего порядка к высшему и, следовательно, никогда не смогли бы понять естественную иерархию существ, — необходимо, говорим мы, чтобы наш ум с уважением и любовью погрузился в тщательное изучение деталей и бесконечно малых подробностей, без которых нам невозможно представить себе живую реальность существ. Итак, только соединяя эти две способности, эти две на первый взгляд столь противоположаемые тенденции: абстракцию и внимательный, тщательный, терпеливый анализ всех деталей, мы сможем подняться до реального понятия о нашем не внешне, а внутренне бесконечном мире и составить себе хоть сколько-нибудь полное представление о нашей собственной Вселенной — о нашем земном шаре или, если хотите, о нашей Солнечной системе. Итак, очевидно, что если наши чувства и наше воображение и могут дать нам какой-то образ, какое-то представление, непременно в той или иной степени ложное, об этом мире, даже если они могут посредством своего рода инстинктивной догадки дать нам почувствовать тень, отдаленное подобие истины, то чистую и полную истину нам может дать только наука.

Что же представляет собой эта властная любознательность, толкающая человека к познанию окружающего мира, к постижению с неутолимой страстью секретов этой природы, чьим последним и самым совершенным созданием на нашей Земле он сам является? Является ли любознательность просто роскошью, приятным времяпрепровождением или же одной из основополагающих потребностей его природы? Мы, не колеблясь, утверждаем, что из всех потребностей, присущих природе человека, это наиболее человеческая и что он действительно становится человеком, что он действительно отличается от животных всех других видов лишь благодаря этой неукротимой жажде знания. Чтобы осуществить себя во всей полноте своего бытия, человек должен, как мы сказали, себя познать, а он никогда себя действительно не познает, пока он не познает окружающую его природу, произведением которой он сам является. Если человек не хочет отказаться от своей человечности, он должен знать, он должен пронизывать своей мыслью весь видимый мир и без надежды достичь когда-нибудь его сущности углубляться все более и более в изучение его устройства и законов, ибо наша человечность приобретает лишь этой ценой. Ему нужно познать все низшие, предшествующие и современные ему области,

все механические, физические, химические, геологические и органические изменения на всех ступенях развития растительной и животной жизни, т. е. все причины и условия его собственного рождения и существования, дабы он мог понять свою собственную природу и свое призвание на этой земле — его единственном отечестве и месте действия, — чтобы в этом мире слепой фатальности он мог основать царство свободы.

Такова задача человека: она неисчерпаема, бесконечна и вполне достаточна для удовлетворения самых честолюбивых умов и сердец. Мимолетное и неприметное существо среди безбрежного океана всеобщей изменяемости, с неведомой вечностью позади него и неведомой вечностью впереди, человек, мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое назначение, остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, которую он сам завоевывает, просвещая, освобождая, в случае необходимости поднимая на бунт окружающий его мир и помогая ему. В этом его утешение, награда, его единственный рай. Если вы спросите после этого, каково его внутреннее убеждение и последнее слово относительно реального единства Вселенной, то он вам скажет, что оно заключается в вечном и универсальном преобразовании, в движении без начала, без предела и конца. А это полная противоположность всякому Провидению — отрицание Бога.

Во всех религиях, поделивших между собой мир и обладающих сколько-нибудь развитой теологией, — за исключением, впрочем, буддизма, чья странная и к тому же не понятая до конца несколькими сотнями миллионов последователей доктрина устанавливает религию без Бога, — во всех системах метафизики Бог является нам как всевышнее существо, предвечно существовавшее и все предопределившее, все в себе содержащее, как мысль и воля, вдохновляющее всякое существование и предшествующее всякому существованию: источник и вечная причина всякого творения, неизменное и вечно равное самому себе существо во всеобщем движении сотворенных миров. Как мы видели, этот Бог не находится в действительной Вселенной, по крайней мере в той ее части, которая доступна человеку. Поэтому, не находя его вне самого себя, человек должен был найти его в себе самом. Каким образом он его искал? Отвлекаясь от всех живых, реальных вещей, от всех видимых, известных миров. Но мы видели, что в конце этого бесплодного путешествия человеческая способность к абстракции встречает лишь один объект, саму себя, но освобожденную от всякого содержания и лишенную всякого движения за неимением предмета, который бы можно еще превзойти, — себя как абстракцию, как абсолютно неподвижное, абсолютно пустое бытие. Мы сказали бы; абсолютное Небытие. Но религиозная фантазия говорит: Верховное Существо — Бог.

К тому же, как мы уже отметили, фантазия следует здесь примеру того различия или даже противоположения, которое делается уже достаточно развившимся мышлением между внешним человеком — телом — и его внутренним миром, заключающим в себе его мысль и волю, — человеческой душой. Естественно, не подозревая, что душа — не что иное, как продукт и последнее, постоянно обновляемое, воспроизводимое выражение человеческого организма, видя, напротив, что в повседневной жизни тело кажется всегда повинующимся внушениям мысли и воли; предполагая, следовательно, что душа есть если не творец, то, по крайней мере, хозяин тела, для которого не остается другого назначения, как служить ей и выражать ее, — религиозный человек, с того момента, как его способность к отвлечению дошла, описанным нами образом, до идеи универсального и всевышнего существа, которое,

как мы доказали, является не чем иным, как этой самой способностью к абстракции, полагающей самое себя как объект, — естественно принимает ее за душу всей вселенной — Бога.

Так впервые в истории появился истинный Бог — всемирное, вечное, неизменное существо, созданное двойным действием религиозного воображения и человеческой способности к отвлечению. Но как только Бог был таким образом познан и признан, человек, забывая или, скорее, даже не зная о своей собственной интеллектуальной деятельности, которая и создала Бога, не узнавая себя самого в своем собственном создании: в универсальном абстракте, — начал ему поклоняться. Роли тотчас же переменились: творение стало предполагаемым творцом, а настоящий творец, человек, занял место между множеством других презренных тварей как жалкая тварь, стоящая чуть выше всех прочих.

Раз Бог был признан, то постепенное и прогрессирующее развитие различных теологий естественно объясняется как отражение исторического развития человечества. Ибо с того момента, как идея сверхъестественного и всевышнего существа завладела воображением человека и укрепилась в его религиозном убеждении, — вплоть до того, что это существо кажется ему более реальным, чем действительные вещи, которые он видит и осязает руками, — она естественным и необходимым образом становится главной основой всего человеческого существования, она его изменяет, пронизывает его, оно находится в ее исключительной и абсолютной власти. Верховное существо тотчас же представляется как абсолютный господин, как мысль, воля, первоисток — как творец и устроитель всех вещей. Ничто не может более соперничать с ним и все должно исчезнуть в его присутствии: всякая истина пребывает в нем одном и каждое существо, сколь бы могущественным оно ни казалось, включая самого человека, отныне может существовать лишь с божьего соизволения. Все это, впрочем, совершенно логично, ибо в противном случае Бог не был бы всевышним, всемогущим, абсолютным существом, т. е. его вовсе бы не было.

С этих пор, естественно, человек приписывает Богу все качества, все силы, все добродетели, которые он последовательно открывает в себе или вне себя. Мы видели, что Бог, признанный верховным существом и являющийся в действительности не чем иным, как абсолютным абстрактом, совершенно лишен всякой определенности и всякого содержания: он обнажен и ничтожен, как само Небытие. И вот он наполняется и обогащается всеми реальностями существующего мира, будучи лишь его абстракцией; но для религиозной фантазии он — Господь и Владыка. Отсюда следует, что Бог — это неограниченный грабитель, и так как антропоморфизм составляет самую сущность всякой религии, небо, местопребывание бессмертных богов, является просто кривым зеркалом, которое посылает верующему человеку его собственное отражение в перевернутом и увеличенном виде.

Ведь действие религии заключается не только в том, что она отнимает у земли естественные богатства и силы, а у человека — его способности и добродетели, по мере того как он открывает их в ходе исторического развития и тотчас переносит на небо, делает из них божественные атрибуты или существа. Таким превращением религия коренным образом изменяет природу этих сил или качеств, она их извращает, портит, придавая им направление, диаметрально противоположное первоначальному.

Так человеческий разум, единственный орган, которым мы обладаем для познания истины, превращаясь в божественный разум, становится для нас совершенно непонятным и предстает перед верующими как откровение абсурда. Так почитание неба делается презрением к земле, а поклонение божеству — уничтожением человечества. Человеческая любовь, эта великая естественная солидарность, связующая всех индивидов, все народы, делающая счастье и свободу каждого зависимой от свободы и счастья всех других, призванная соединить рано или поздно всех людей во всеобщем братстве, несмотря на различия цвета и расы, — эта любовь, превратившись в божественную любовь и религиозное милосердие, тотчас же становится бичом человечества: вся кровь, пролитая во имя веры с самого начала истории, все эти миллионы человеческих жизней, принесенных в жертву ради вящей славы богов, свидетельствуют об этом... Наконец, сама справедливость, эта будущая мать равенства, единожды перенесенная религиозной фантазией в небесные дали и превращенная в божественную справедливость, тут же возвращается на землю в теологической форме благодати и, принимая всегда и везде сторону самых сильных, сеет с этих пор среди людей лишь насилие, привилегии, монополию и все чудовищное неравенство, освященное историческим правом.

Мы не думаем отрицать историческую необходимость религии, мы не утверждаем, что она была абсолютным злом в истории. Если она зло, то она была и, к сожалению, поныне остается для громадного большинства невежественного человечества злом неизбежным, подобно тому, как неизбежны недостатки и ошибки в развитии всякой человеческой способности. Религия, как мы уже сказали, — это первое пробуждение человеческого разума в форме божественного неразумия; это первый проблеск человеческой истины сквозь божественные покровы лжи; это первое проявление человеческой морали, справедливости и права сквозь исторические несправедливости божественной благодати; наконец, это первый опыт свободы под унижительным и тягостным игом божества, игом, которое в конце концов необходимо будет свергнуть, чтобы действительно завоевать разумный разум, истинную истину, полную справедливость и действительную свободу.

При помощи религии человек-животное, выходя из животности, делает первый шаг к человечности; но покуда он останется религиозным, он никогда не достигнет своей цели, ибо всякая религия обрекает его на абсурд и, направляя его по ложному пути, заставляет искать божественное вместо человеческого. Религия приводит к тому, что народы, едва освободившись от природного рабства, в котором остаются животные других видов, тотчас же попадают в рабство к сильным мира сего и к кастам привилегированным, кастам, этим божеским избранникам.

Одним из главных атрибутов бессмертных богов является, как известно, звание законодателей человеческого общества, основателей государства. Человек, говорят почти все религии, был бы неспособен сам распознать, что хорошо и что плохо, справедливо и несправедливо, а потому само божество должно было так или иначе спуститься на землю, чтобы просветить человека и основать в человеческом обществе политический и социальный строй. Естественным результатом этого является непреложный вывод: все законы и всякая установленная власть освящены небом и им должно всегда и везде слепо повиноваться.

Это очень удобно для правителей и очень неудобно для управляемых, а так как мы принадлежим к последним, то мы кровно заинтересованы в более близком рассмотрении правомерности этого древнего утверждения, которое всех нас обратило в рабов, чтобы найти средство освободиться от гнета.

Вопрос теперь уже для нас чрезвычайно упростился: поскольку Бог не существует или он не что иное, как продукт нашей способности к абстракции, соединенной с религиозным чувством, доставшимся нам по наследству от животных; будучи лишь всеобщим абстрактом, неспособным на движение и самостоятельное действие, абсолютным Небытием, воображенным как верховное существо и созданным только религиозной фантазией, абсолютно лишенным всякого содержания и обогащающимся всеми реальностями земли, возвращающим человеку в извращенном, испорченном, божественном виде то, что оно раньше у него похитило, — Бог не может быть ни добр, ни зол, ни справедлив, ни несправедлив. Он не может ничего желать, ничего устанавливать, ибо в сущности он — ничто, и он становится всем лишь благодаря религиозному легковерию. Поэтому, если это последнее нашло в нем идеи справедливости и добра, то только потому, что раньше само предоставило их ему, не подозревая об этом; веруя, что получает, оно само их давало. Но, чтобы одалживать эти идеи Богу, человек должен был их иметь! Где он нашел их? Конечно, в себе самом. Но все, что он имеет, исходит от его животности: его дух — не что иное, как толкование его животной природы. Итак, идеи справедливости и добра, подобно всему другому человеческому, должны иметь корни в самой животности человека.

И в самом деле, элементы того, что мы называем моралью, имеются уже в животном мире. У животных всех видов, без малейшего исключения и лишь с громадной разницей в отношении развитости, мы встречаем два противоположных инстинкта: инстинкт самосохранения Индивида и инстинкт сохранения Вида, или, говоря человеческим языком, эгоистический инстинкт и социальный инстинкт. С точки зрения науки, как и с точки зрения самой природы, эти два инстинкта равно естественны и, следовательно, законны, более того, они равно необходимы для естественной экономики существ, поскольку индивидуальный инстинкт — основное условие сохранения вида; если бы индивиды всей своей энергией не защищались от лишений, всех внешних опасностей, постоянно угрожающих их существованию, то и сам вид, который живет лишь в индивидах и через индивидов, не мог бы сохраниться. Но если судить об этих двух стремлениях, исходя только из интересов вида, то можно было бы сказать, что социальный инстинкт хорош, а индивидуальный, поскольку он ему противоположен, дурен. У муравьев, у пчел преобладает добродетель, ибо у них социальный инстинкт, как кажется, совершенно подавляет индивидуальный инстинкт. Совершенно иное видим мы у хищных зверей, и мы не ошибемся, если скажем, что в животном мире вообще преобладает эгоизм. Инстинкт вида, наоборот, пробуждается лишь на короткий срок и длится лишь столько времени, сколько необходимо для размножения и воспитания семьи.

Иначе обстоит дело с человеком. По-видимому, и это одно из доказательств его огромного превосходства над животными всех других видов, оба противоположных инстинкта, эгоизм и общественность, у человека и гораздо сильнее, как один, так и другой, и менее разделимы, чем у всех низестоящих видов животных: в своем эгоизме он свирепее самых кровожадных зверей и в то же время — куда больший социалист, чем пчелы и муравьи.

Проявление в каком-либо животном большей силы эгоизма или индивидуальности есть несомненное доказательство сравнительно большего совершенства его организма и признак более развитого ума. Каждый вид животных конституирован как таковой особым законом, т. е. свойственным только ему способом формирования и сохранения, отличающим его от всех прочих видов. Этот закон не существует вне реальных индивидов, принадлежащих виду, которым он управляет; помимо них у него нет реальности, но он безраздельно правит ими, и они являются его рабами. У самых низших видов, проявляясь как способ скорее растительной, чем животной жизни, он почти совсем отделен от них, являясь чуть ли не внешним законом, которому едва определенные как таковые, индивиды повинуются, так сказать, механически. Но, по мере развития видов и их постепенного восходящего приближения к человеку, все более индивидуализируется управляющий ими специальный родовой закон; все более полно он претворяется и проявляется в каждом индивиде, приобретающем тем самым все большую определенность и отличительные признаки. Продолжая повиноваться этому закону с такой же необходимостью, как и другие, при том, что этот закон все больше проявляется в нем как его собственное индивидуальное стремление, как скорее внутренняя, чем внешняя необходимость, — несмотря на то, что эта внутренняя необходимость всегда проявляется в нем, хотя он этого и не подозревает, под действием множества внешних причин, — индивид чувствует себя более свободным, более независимым, способным к более самостоятельным действиям, чем индивиды нижестоящих видов. У него появляется чувство свободы. Мы можем сказать, что сама природа в своих прогрессивных изменениях стремится к освобождению и что уже в ее лоне большая индивидуальная свобода является несомненным признаком более высокого развития. Самым индивидуальным и самым свободным существом в сравнении с другими животными, бесспорно, является человек.

Мы сказали, что человек — это не только самое индивидуальное из земных существ, но и самое социальное. Большой ошибкой со стороны Ж. Ж. Руссо было предположение, что первобытное общество основано на свободном договоре, заключенном дикарями. Но Руссо не единственный, кто это утверждает. Большинство современных юристов и публицистов из школы Канта или из всякой другой индивидуалистической и либеральной школы, не признающих ни общества, основанного на божественном праве теологов, ни общества, определяемого гегельянской школой, как более или менее мистическая реализация объективной морали, ни первобытно-животного общества натуралистов, берут в качестве исходного пункта, *volens volens*, молчаливый договор. Молчаливый договор! Т. е. договор без слов и, следовательно, без мысли и без воли — возмутительная бессмыслица! Абсурдная фикция и, что хуже, злая фикция! Недостойное надувательство! Ибо он предполагает, что в то время, когда я еще не был в состоянии ни желать, ни думать, ни говорить, — я только тем, что покорно позволил себя оболванить, мог дать согласие на вечное рабство как свое, так и всего моего потомства!

Последствия общественного договора поистине пагубны, ибо они приводят к полному доминированию государства. А ведь взятый за исходный пункт принцип кажется чрезвычайно либеральным. Предполагается, что индивиды до заключения этого договора пользуются абсолютной свободой, ибо согласно этой теории только естественный, дикий человек совершенно свободен. Мы высказали свое мнение об этой естественной свободе, которая является лишь абсолютной зависимостью человека-гориллы от постоянного

давления внешнего мира. Но предположим, что человек действительно свободен в исходном пункте своей истории, зачем же тогда ему образовывать общество? Чтобы защитить себя, отвечают нам, от всех возможных вторжений внешнего мира, включая других людей, объединившихся или необъединившихся, но не принадлежащих к формирующемуся новому обществу.

Таковы эти первобытные люди, совершенно свободные, каждый сам по себе и для себя самого, но которые пользуются этой безграничной свободой до тех пор, пока не встретятся друг с другом, пока они пребывают в полной индивидуальной изоляции. Свободе одного не нужна свобода другого, напротив, свобода каждого довольствуется сама собой, существует сама по себе и непременно предстает отрицанием свободы всех других. Все эти свободы при встрече должны друг друга ограничивать, уменьшать, противоречить одна другой и взаимно уничтожаться...

Дабы не уничтожить друг друга совершенно, они заключают между собой явный или молчаливый договор, по которому они отказываются от своей части, чтобы обеспечить остальное. Этот договор становится фундаментом не общества, а скорее, Государства; ибо надо заметить, что в этой теории нет места для общества, в ней существует только Государство или, лучше сказать, общество в ней полностью поглощено Государством.

Общество — это естественный способ существования совокупности людей независимо от всякого договора. Оно управляется нравами и традиционными обычаями, но никогда не руководствуется законами. Оно медленно развивается под влиянием инициативы индивидов, а не мыслью и волей законодателя. Существуют, правда, законы, управляющие обществом без его ведома, но это законы естественные, свойственные социальному телу, как физические законы присущи материальным телам. Большая часть этих законов до сих пор не открыта, а между тем они управляли человеческим обществом с его рождения, независимо от мышления и воли составляющих его людей. Отсюда следует, что их не надо смешивать с политическими и юридическими законами, провозглашенными какой-либо законодательной властью, которые в разбираемой нами системе считаются логическими выводами из первого договора, сознательно заключенного людьми.

Государство не является непосредственным созданием природы; оно не предшествует, как общество, пробуждению человеческой мысли; и мы попытаемся в дальнейшем показать, каким образом религиозное сознание создает его в среде естественного общества. По мнению либеральных публицистов, первое государство было создано свободной и сознательной волей людей; по мнению абсолютистов, это — творение божие. В обоих случаях оно стоит над обществом и стремится его полностью поглотить.

Во втором случае это само собой понятно, божественное установление обязательно должно поглотить всякое естественное устройство. Любопытнее другое — индивидуалистическая школа со своим свободным договором приходит к тому же результату. И в самом деле, эта школа начинает с отрицания самого существования естественного общества, предшествующего договору, ибо подобное общество предполагало бы естественные отношения между индивидами и, следовательно, взаимное ограничение их свободы, что противоречит абсолютной свободе, которой каждый, согласно этой теории, имеет

возможность пользоваться до заключения договора. Это означало бы не более и не менее, как этот самый договор, существующий в виде естественного факта и предшествующий свободному договору. Следовательно, согласно этой системе, человеческое общество начинается лишь с заключения договора. Но что тогда представляет собой это общество? Прямое и логическое осуществление договора, со всеми его постановлениями, законодательными и практическими следствиями, — это Государство.

Рассмотрим его подробнее. Что оно из себя представляет? Сумму отрицаний индивидуальных свобод всех его членов; или же сумму жертв, которые приносят его члены, отказываясь от части своей свободы ради общего блага. Мы видели, что согласно индивидуалистической теории свобода каждого — это ограничение или естественное отрицание свободы всех других: ну так вот, это абсолютное ограничение, это отрицание свободы каждого во имя свободы всех или общего права, — это и есть Государство. Итак, там, где начинается Государство, кончается индивидуальная свобода, и наоборот.

Мне возразят, что Государство, представитель общественного блага, или всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его свободы только с тем, чтобы обеспечить ему все остальное. Но остальное — это, если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода неделима: нельзя отсечь ее часть, не убив целиком. Малая часть, которую вы отсекаете, — это сама сущность моей свободы, это все. В силу естественного, необходимого и непреодолимого хода вещей вся моя свобода концентрируется именно в той части, которую вы удаляете, сколь бы малой она ни была. Это история жены Синей Бороды, которая имела в своем распоряжении весь дворец с полной свободой проникать всюду, смотреть на все и дотрагиваться до всего, за исключением маленькой комнаты, которую ее ужасный муж своей высочайшей волей запретил ей открывать под страхом смерти. И вот, презрев все великолепие дворца, вся ее душа сосредоточилась на этой скверной комнатенке: она открыла ее и была права, ибо это было необходимым актом ее свободы, между тем как запрещение входить туда было вопиющим нарушением свободы. Такова и история грехопадения Адама и Евы: запрещение вкусить плод с дерева познания без другого мотива, кроме того, что это воля Господа, являлось со стороны Бога актом ужасного деспотизма; и если бы наши прародители послушались, весь человеческий род остался бы в самом унижительном рабстве. Их непослушание нас, напротив, освободило и спасло. На языке мифологии, это было первым актом человеческой свободы.

Но разве Государство, скажут мне, демократическое Государство, основанное на свободном голосовании всех граждан, может быть отрицанием их свободы? А почему же нет? Это целиком будет зависеть от назначения Государства и власти, которую граждане ему предоставят. Республиканское Государство, основанное на всеобщей подаче голосов, может быть очень деспотичным, даже более деспотичным, чем монархическое, если под предлогом, что оно представляет общую волю. Государство будет оказывать давление на волю и свободное развитие каждого из своих членов всей тяжестью своего коллективного могущества.

Но Государство, возразят мне, ограничивает свободу своих членов лишь постольку, поскольку эта свобода направлена к несправедливости, ко злу. Оно мешает им убивать, грабить и оскорблять друг друга и вообще делать зло, но в то же время предоставляет им

полную и всецелую свободу делать добро. Это опять все та же история Синей Бороды или запретного плода: что такое зло, что такое добро?

С точки зрения разбираемой нами системы, до заключения договора не существовало различия между добром и злом, и тогда каждый индивид пользовался своей свободой и своим абсолютным правом в полном одиночестве и нисколько не был обязан оказывать какое-либо почтение другим, разве только то, которого требовала его относительная слабость или сила, — другими словами, благоразумие и личный интерес^[9]. Тогда, согласно все той же теории, эгоизм был верховным законом, единственным правом, добро определялось успехом, зло — одной только неудачей, а справедливость была всего лишь узакониванием свершившегося факта, как бы он ни был ужасен, жесток и отвратителен, — совершенно так же, как в политической морали, преобладающей в настоящее время в Европе.

Различие между добром и злом, согласно этой системе, начинается лишь с заключением общественного договора. Тогда все, что было признано составляющим общий интерес, было провозглашено добром, а все ему противоположное — злом. Договаривающиеся члены, сделавшись гражданами, связав себя более или менее торжественным обязательством, тем самым наложили на себя обязанность: подчинять свои частные интересы всеобщему благу, неделимому интересу всех, и свои личные права — государственному праву, единственный представитель которого, Государство, было тем самым облечено властью подавлять всякий бунт индивидуального эгоизма, но с обязанностью защищать каждого из своих членов в неприкосновенности его прав, пока эти последние не вступают в противоречие со всеобщим правом. Теперь рассмотрим, что должно из себя представлять таким способом устроенное государство, как в его отношениях к другим, подобным ему государствам, так и в его отношениях к управляемому им населению. Это исследование представляется нам тем более интересным и полезным, что государство, — так, как оно определено здесь, — это именно современное государство, поскольку оно отделилось от религиозной идеи: это светское, или атеистическое, государство, провозглашенное современными публицистами. Посмотрим же, в чем состоит его мораль? Это, как мы сказали, современное государство, освободившееся из-под ига церкви и, следовательно, сбросившее иго всемирной, или космополитической, морали христианской религии и, добавим, еще не проникшееся ни гуманистической идеей, ни гуманистической моралью, что, впрочем, ему невозможно сделать, не уничтожая себя, ибо в своем отдельном от других существовании и обособленной концентрации оно слишком ограничено, чтобы быть в состоянии охватить, вместить интересы, а следовательно, и мораль всего человечества.

Современные государства достигли именно такого состояния. Христианство служит им лишь предлогом и фразой, или средством обманывать простаков, ибо они преследуют цели, не имеющие никакого отношения к религиозным чувствам. И великие государственные мужи наших дней: Пальмерстоны, Муравьевы, Кавуры, Бисмарки, Наполеоны громко бы расхохотались, если бы кто-нибудь принял всерьез их демонстрации религиозных чувств. Они бы смеялись еще больше, если бы им приписали гуманистические чувства, намерения и стремления, которые они, впрочем, не упускают случая публично назвать глупостью. Что же остается, что составляет их мораль? Единственно, государственный интерес. С этой точки зрения, которая, за очень малым исключением, была точкой зрения государственных

деятелей, сильных людей всех времен и всех стран, все, что служит к сохранению, возвеличению и укреплению Государства, каким бы святотатством это ни было с религиозной точки зрения, как бы это ни казалось возмутительно с точки зрения человеческой морали, является добром, и наоборот, все, что этому противоречит, будь то в высшей степени свято или по-человечески справедливо, является злом. Такова в действительности мораль и вековая практика всех государств.

Это относится и к государству, основанному на теории общественного договора. Согласно этой системе, добро и справедливость начинают существовать лишь с заключения договора и являются не чем иным, как содержанием и целью договора, т. е. общим интересом и государственным правом всех заключивших его индивидов, не считая тех, кто остался вне договора, следовательно, являются наибольшим удовлетворением коллективного эгоизма частной и ограниченной ассоциации, которая, будучи основана на частичном пожертвовании индивидуальным эгоизмом со стороны каждого из ее членов, отторгает от себя как посторонних и как естественных врагов огромное большинство человеческого рода, входящее или не входящее в аналогичные ассоциации.

Существование одного ограниченного государства предполагает и с необходимостью провоцирует образование других государств, ибо совершенно естественно, что индивиды, находящиеся вне первого государства, существованию и свободе которых оно угрожает, объединяются, в свою очередь, против него. И вот человечество разбивается на неопределенное число государств, чуждых, враждебных и угрожающих друг другу. Для них нет общего права, нет общественного договора, ибо в противном случае они бы перестали быть абсолютно независимыми друг от друга государствами и стали бы союзными членами одного великого Государства. Но если только это великое Государство не охватит все человечество, то против него неизбежно будут враждебно настроены другие великие федеративные по своему внутреннему устройству Государства. Война будет всегда верховным законом и необходимостью, свойственной самому существованию человечества.

Каждое государство, федеративное оно или нет по внутреннему устройству, должно стремиться под страхом гибели сделаться самым могущественным. Оно должно пожирать других, дабы самому не быть растерзанным, завоевывать, чтобы не быть завоеванным, поработать, чтобы не быть поработанным, ибо две равные, но в то же время чуждые друг другу силы не могли бы существовать, не уничтожая друг друга.

Государство — это самое вопиющее, самое циничное и самое полное отрицание человечности. Оно разрывает всеобщую солидарность людей на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных. Оно берет под свое покровительство лишь своих собственных граждан, признает человеческое право, человечность и цивилизацию лишь внутри своих собственных границ; не признавая вне себя никакого права, оно логически присваивает себе право самой жестокой бесчеловечности по отношению ко всем другим народам, которых оно может по своему произволу грабить, уничтожать или поработать. Если оно и выказывает по отношению к ним великодушие и человечность, то никак не из чувства долга; ибо оно имеет обязанности лишь по отношению к самому себе, а также по отношению к тем своим членам, которые его свободно образовали, которые продолжают его свободно составлять или даже, как это всегда в конце

концов случается, сделались его подданными. Так как международное право не существует, так как оно никак не может существовать серьезным и действительным образом, не подрывая саму основу принципа суверенности государств, то государство не может иметь никаких обязанностей по отношению к наследию других государств. Следовательно, гуманно ли оно обращается с покоренным народом, грабит ли оно его и уничтожает лишь наполовину, не низводит до последней степени рабства, — оно поступает так из политических целей и, быть может, из осторожности или из чистого великодушия, но никогда из чувства долга, ибо оно имеет абсолютное право располагать покоренным народом по своему произволу.

Это вопиющее отрицание человечности, составляющее сущность Государства, является, с точки зрения Государства, высшим долгом и самой большой добродетелью: оно называется патриотизмом и составляет всю трансцендентную мораль Государства. Мы называем ее трансцендентной моралью, потому что она обычно превосходит уровень человеческой морали и справедливости, частной или общественной, и тем самым чаще всего вступает в противоречие с ними. Например, оскорблять, угнетать, грабить, обирать, убивать или порабощать своего ближнего считается, с точки зрения обыкновенной человеческой морали, преступлением. В общественной жизни, напротив, с точки зрения патриотизма, если это делается для большей славы государства, для сохранения или увеличения его могущества, то становится долгом и добродетелью. И эта добродетель, этот долг обязательны для каждого гражданина-патриота; каждый должен их выполнять — и не только по отношению к иностранцам, но и по отношению к своим соотечественникам, подобным ему членам и подданным государства, — всякий раз, как того требует благо государства.

Это объясняет нам, почему с самого начала истории, т. е. с рождения государств, мир политики всегда был и продолжает быть ареной наивысшего мошенничества и разбоя — разбоя и мошенничества, к тому же высоко почитаемых, ибо они предписаны патриотизмом, трансцендентной моралью и высшим государственным интересом. Это объясняет нам, почему вся история древних и современных государств является лишь рядом возмутительных преступлений; почему короли и министры в прошлом и настоящем, во все времена и во всех странах, государственные деятели, дипломаты, бюрократы и военные, если их судить с точки зрения простой морали и человеческой справедливости, сто раз, тысячу раз заслужили виселицы или каторги; ибо нет ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, циничного воровства, бесстыдного грабежа и подлой измены, которые бы не были совершены, которые бы не продолжали совершаться ежедневно представителями государств без другого извинения, кроме столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: государственный интерес!

Поистине ужасное слово! оно развратило и обесчестило большее число лиц в официальных кругах и правящих классах общества, чем само христианство. Как только это слово произнесено, все замолкает, все исчезает: честность, честь, справедливость, право, исчезает само сострадание, а вместе с ним логика и здравый смысл; черное становится белым, а белое — черным, отвратительное — человеческим, а самые подлые предательства, самые ужасные преступления становятся достойными поступками!

Великий итальянский политический философ Макиавелли был первым, произнесшим это слово, или, по крайней мере, первым, придавшим ему его настоящее значение и огромную популярность, которую оно и доселе пользуется в мире наших правителей. Будучи реалистом и позитивистом, он первым понял, что великие и могущественные государства могут иметь своей основой и держаться только на преступлении, на множестве больших преступлений и полном презрении ко всему, что называется честностью! Он это написал, объяснил и доказал с предельной откровенностью. И так как идея человечности в его время совершенно игнорировалась; так как идея братства, не человеческого, а религиозного, проповедуемая католической церковью, была тогда, как и всегда, лишь отвратительной иронией, и церковь опровергала ее ежесекундно своими же поступками; так как в то время никому бы даже в голову не пришло, что существует какое-то народное право, — ибо народ всегда принимали за инертную и тупую массу, которой уготовано вечное послушание, на которую беспрепятственно можно налагать барщину и оброк; так как нигде, ни в Италии, ни вне ее, не было ничего, что бы было выше Государства, то Макиавелли вполне логично заключил, что Государство есть высшая цель всего человеческого существования, что надо служить ему во что бы то ни стало и что настоящий патриот не должен останавливаться, служа ему, ни перед каким преступлением, ибо интерес Государства превышает все. Макиавелли советует совершать преступление, он предписывает его и делает его условием *sine qua non* политической мудрости и истинного патриотизма. Называется ли государство монархией или республикой, преступление равно необходимо и для его сохранения, и для его торжества. Преступление изменит, конечно, свое направление и цель, но характер его останется тот же. Это всегда будет энергичное, непрестанное поправление справедливости, сострадания и честности — ради блага Государства.

Да, Макиавелли прав, мы не можем в этом сомневаться, имея, вдобавок к его опыту, опыт трех с половиной столетий. Да, вся история говорит нам об этом: малые государства добродетельны лишь благодаря своей слабости, а могущественные государства поддерживаются лишь преступлением. Только вывод наш будет совершенно иной, чем вывод Макиавелли, и это по очень простой причине: мы — дети Революции и мы наследовали от нее Религию человечности, которую мы должны основать на руинах Религии божества; мы верим в права человека, в достоинство и необходимое освобождение человеческого рода; мы верим в человеческую свободу и в человеческое братство, основанное на человеческой справедливости. Одним словом, мы верим в победу человечности на Земле. Но эта победа, которой мы желаем всем сердцем и хотим ее приблизить, объединив наши усилия, эта победа, будучи по своей природе отрицанием преступления, собственно, отрицанием человечности, может осуществиться, лишь когда преступление перестанет быть тем, чем оно является в настоящее время почти повсюду: самой основой политического существования наций, поглощенных, поработанных идеей Государства. И так как теперь уже доказано, что никакое государство не может существовать, не совершая преступлений или, по крайней мере, не мечтая о них, не обдумывая, как их исполнить, когда оно бессильно их совершить, мы в настоящее время приходим к выводу о безусловной необходимости уничтожения государств. Или, если хотите, их полного и коренного переустройства в том смысле, чтобы они перестали быть централизованными и организованными сверху вниз державами, основанными на насилии или на авторитете какого-нибудь принципа, и, напротив, реорганизовались бы снизу вверх, с абсолютной свободой для всех частей объединяться или не объединяться и с постоянным

сохранением для каждой части свободы выхода из этого объединения, даже если бы она вошла в него по доброй воле; реорганизовались бы согласно действительным потребностям и естественным стремлениям всех частей, через свободную федерацию индивидов и ассоциаций, коммун, округов, провинций и наций в единое человечество.

Таковы выводы, к которым нас неизбежно приводит исследование внешних отношений даже так называемого свободного государства с другими государствами. В дальнейшем мы увидим, что государство, основывающееся на божественном праве или религиозной санкции, приходит совершенно к тем же результатам. Рассмотрим теперь отношение государства, основанного на свободном договоре, к своим собственным гражданам или подданным.

Мы убедились, что исключая огромное большинство человеческого рода, ставя его вне сферы взаимных обещаний и обязанностей, связанных с моралью, справедливостью и правом, государство отрицает человечность и, посредством великого слова Патриотизм, принуждает своих подданных к несправедливости и жестокости, как к высшему долгу. Оно ограничивает, обрубает, убивает в них человечность, дабы, перестав быть людьми, они были бы только гражданами или, с точки зрения исторической последовательности фактов, справедливей сказать, чтобы они не переросли уровень гражданина, не достигли высоты человека. Кроме того, мы увидели, что всякое государство, под страхом гибели и поглощения соседними государствами, должно стремиться к всемогуществу, а став всемогущественным, оно должно завоевывать. Кто говорит о завоевании, говорит о завоеванных, угнетенных, обращенных в рабство народах, какую бы форму это ни имело и как бы ни называлось. Итак, рабство является необходимым следствием существования государства.

Рабство может менять форму и название, но суть его остается прежней. Эта суть выражается в следующих словах: быть рабом — значит быть принужденным работать для другого, так же как быть господином — значит жить за счет труда другого. В древнем мире, подобно тому, как теперь в Азии, в Африке и даже еще в части Америки, рабы прямо назывались рабами. В средние века они получили имя крепостных, в настоящее время их называют наемными работниками. Положение последних гораздо более достойно и менее тяжело, чем положение рабов, но, тем не менее, они все же принуждены голодом, а также политическими и общественными институтами поддерживать своим тяжелым трудом абсолютное или относительное безделье других. Следовательно, они рабы. И вообще ни одно древнее или современное государство никогда не могло обойтись без принудительного труда наемных или поработанных масс как главного и неперемennого условия досуга, свободы и цивилизации политического класса — граждан. В этом отношении даже Соединенные Штаты Северной Америки не составляют исключения.

Таковы внутренние условия государства, которые обязательно следуют из его внешнего положения, т. е. из его естественной, постоянной и неизбежной враждебности по отношению ко всем другим государствам. Посмотрим теперь, каковы условия, непосредственно вытекающие для граждан из свободного договора, на котором они основывают государство.

Назначение государства не ограничивается обеспечением защиты своих членов от всех внешних нападений, оно должно еще во внутренней жизни защищать их друг от друга и каждого — от самого себя. Ибо государство, — и это его характерная и основная черта, — всякое государство, как и всякая теология, основывается на предположении, что человек, в сущности, зол и плох. В рассматриваемом нами государстве добро, как мы видели, начинается лишь с заключения общественного договора и является, следовательно, не чем иным, как порождением этого договора, самым его содержанием. Оно не является порождением свободы. Напротив, покуда люди остаются изолированными друг от друга в своей абсолютной индивидуальности, пользуясь всей своей естественной свободой, не знающей других границ, кроме границ возможности, а не права, они признают только один закон, закон природного эгоизма: они оскорбляют, истязают и обкрадывают, убивают и пожирают друг друга, каждый в меру своего ума, хитрости, материальных возможностей, подобно тому, как поступают, что мы и видели, в настоящее время государства. Таким образом, человеческая свобода рождает не добро, а зло, человек по природе дурен. Каким образом он стал плохим? Объяснить это — дело теологии. Факт тот, что государство при своем рождении находит человека уже дурным и берется сделать его хорошим, т. е. превратить естественного человека в гражданина.

На это можно было бы заметить, что, поскольку государство является продуктом свободно заключенного людьми договора, а добро является произведением государства, то, следовательно, оно — произведение свободы! Подобный вывод совершенно неверен. Само государство, по этой теории, является не произведением свободы, а, наоборот, добровольным пожертвованием и отречением от нее. Люди в естественном состоянии совершенно свободны с точки зрения права, но на деле они подвержены всем опасностям, которые каждую минуту угрожают их жизни и безопасности. Чтобы обеспечить и сохранить эту безопасность, они жертвуют, они отрекаются от большей или меньшей части своей свободы, и поскольку они жертвуют ею ради своей безопасности, поскольку становятся гражданами, они делаются рабами государства. Поэтому мы вправе утверждать, что, с точки зрения государства, добро рождается не из свободы, а, наоборот, из отрицания свободы.

Не знаменательно ли это сходство между теологией — этой наукой церкви, и политикой — этой теорией государства, и то, что два внешне столь различных порядка мысли и фактов приходят к одному и тому же убеждению: о необходимости пожертвовать человеческой свободой, чтобы сделать людей нравственными и превратить их согласно церкви — в святых, согласно государству — в добродетельных граждан. Что касается до нас, то мы несколько не удивлены, ибо мы убеждены и постараемся ниже это доказать, что политика и теология две сестры, имеющие одно происхождение и преследующие одну цель, хотя и под разными названиями; что всякое государство является земной церковью, подобно тому, как всякая церковь, в свою очередь, со своими небесами — местопребыванием блаженных и бессмертных богов, является не чем иным, как небесным государством.

Итак, государство, как и церковь, исходит из той основной посылки, что люди по своей сущности дурны и что, предоставленные своей естественной свободе, они бы растерзали друг друга и явили зрелище самой ужасной анархии, где сильные убивали бы или эксплуатировали слабых. Не правда ли, это было бы нечто совершенно противоположное

тому, что происходит в настоящее время в наших образцовых государствах? Государство возводит в принцип положение, что для того, чтобы установить общественный порядок, необходим верховный авторитет; чтобы управлять людьми и подавлять их дурные страсти, необходимы вождь и узда; но что этот авторитет должен принадлежать человеку гениальному и добродетельному^[10], законодателю своего народа, как Моисей, Ликург и Солон, — и что тогда этот вождь и эта узда будут воплощать в себе мудрость и карающую мощь Государства.

Во имя логики мы вполне могли бы придраться к слову «законодатель», ибо в рассматриваемой нами системе речь идет не о кодексе законов, предписанном каким-нибудь авторитетом, а о взаимном обязательстве, свободно принятом свободными основателями государства. И так как эти основатели, согласно разбираемой системе, были не более и не менее, как дикарями, которые до тех пор жили в самой полной естественной свободе и, следовательно, должны были бы не знать различия между добром и злом, мы могли бы спросить: каким образом они вдруг сумели их различить и отделить друг от друга? Правда, нам могут возразить, что, поскольку дикари заключили вначале между собой договор с единственной целью обеспечить их общую безопасность, то, что они называли добром, представляло собой лишь несколько пунктов, предусмотренных договором, например: не убивать друг друга, не грабить имущество друг друга и оказывать взаимную поддержку против всех нападений извне. Но впоследствии законодатель, гениальный и добродетельный человек, рожденный уже в среде сформировавшейся ассоциации и поэтому воспитанный в какой-то степени в ее духе, мог расширить и углубить условия и основы договора и таким образом создать первый моральный кодекс и первый кодекс законов.

Но сразу возникает другой вопрос: предположим, что человек, одаренный необыкновенным умом, рожденный еще первобытным обществом, получивший в этом обществе очень грубое воспитание, смог, благодаря своей гениальности, составить моральный кодекс; но каким образом он смог добиться того, чтобы этот кодекс был принят его народом? Силою одной логики? — Это невозможно. Логика в конце концов всегда торжествует, даже над самыми твердолобыми, но для этого надо много больше времени, чем продолжительность жизни одного человека, а если речь идет об умах слабых, то потребовалось бы, пожалуй, несколько столетий. С помощью силы, насилия? Но тогда это было бы общество, основанное уже не на свободном договоре, а на завоевании, на порабощении, что прямо привело бы нас к действительным, историческим обществам, в которых все вещи объясняются, правда, гораздо более естественно, чем в теориях наших либеральных публицистов, но чье исследование и изучение не только не служат прославлению государства, как того хотели бы эти господа, а ведут нас, напротив, как мы это позже увидим, к желанию его скорейшего радикального и полного уничтожения.

Остается третий способ, посредством которого великий законодатель дикого народа мог бы заставить массу своих сограждан принять свой кодекс а именно — божественный авторитет. И в самом деле, мы видим, что величайшие из известных законодателей, от Моисея до Магомета включительно, прибегали к нему. Он очень эффективен для наций, где верования и религиозное чувство еще имеют большое влияние, и, естественно, это сильнейшее средство для дикого народа. Но только общество, которое было бы создано таким путем, не имело бы уже своим фундаментом свободный договор, созданное,

конституированное прямым вмешательством божьей воли, оно неизбежно будет государством теократическим, монархическим или аристократическим, но ни в коем случае не демократическим. А так как с богами торговаться нельзя, ибо они так же могущественны, как и деспотичны, и приходится слепо принимать все, что они предписывают, и подчиняться их воле во что бы то ни стало, отсюда следует, что в продиктованном богами законодательстве нет места для свободы. Поэтому оставим пока основание государства — кстати, вполне историческое — путем прямого или косвенного вмешательства божественного всемогущества, пообещав вернуться к нему позже, и продолжим рассмотрение свободного государства, основанного на свободном договоре. Правда, мы пришли к убеждению в совершенной невозможности объяснить противоречивый сам по себе факт законодательства, порожденного гением одного человека и единогласно одобренного, свободно принятого целым народом дикарей, без того чтобы законодатель должен был прибегнуть к грубой силе или какому-нибудь божественному обману, но мы согласны допустить это чудо и просим теперь объяснения другого чуда, не менее трудного для понимания, чем первое, предположим, что новый кодекс нравственности и законов провозглашен и единогласно принят, но каким образом он применяется на практике, в жизни? Кто наблюдает за его исполнением?

Можно ли предположить, чтобы после этого единогласного принятия все или хотя бы большинство дикарей, составляющих первобытное общество, которые, до того как новое законодательство было провозглашено, были погружены в самую полную анархию, вдруг сразу, в силу одного этого провозглашения и свободного принятия, до такой степени преобразились, что начали бы по собственному почину и без другой побудительной причины, кроме своих собственных убеждений, добросовестно соблюдать и правильно выполнять все предписания и законы, налагаемые на них неведомой до сих пор моралью?

Допустить возможность такого чуда — значит признать одновременно бесполезность государства и способность естественного человека, побуждаемого только своей собственной свободой, понимать, желать и делать добро, что противоречило бы как теории так называемого свободного государства, так и теории религиозного, или божественного, государства. Фундаментом обеих является предполагаемая неспособность человека возвыситься до добра и делать его по естественному побуждению, ибо такое побуждение, согласно этим теориям, непреодолимо и непрестанно влечет людей ко злу. Следовательно, обе теории учат нас, что для того, чтобы обеспечить соблюдение принципов и выполнение законов в каком бы то ни было человеческом обществе, необходимо, чтобы во главе государства стояла бдительная, регулирующая и, в случае нужды, репрессивная, карающая власть. Остается узнать, кто может и должен ею обладать?

Относительно государства, основанного на божественном праве и при вмешательстве какого-либо бога, ответ прост: власть должна принадлежать прежде всего священникам, а затем освященным ими светским властям. Гораздо более затруднителен ответ, если речь идет о теории государства, основанного на свободном договоре. В чистой демократии, где царит свобода, кто мог бы быть действительно стражем и исполнителем законов, защитником справедливости и общественного порядка против низких страстей каждого? Ведь каждый, как считается, неспособен следить за самим собой и обуздывать самого себя в той мере, в какой это необходимо для общего блага, ибо свобода каждого имеет

естественное влечение ко злу. Словом, кто же будет исполнять государственные функции?

Это будут лучшие граждане, ответят нам, самые умные и добродетельные, те, которые лучше других поймут общие интересы общества и необходимость для каждого, долг каждого подчинять им все частные интересы. В самом деле, необходимо, чтобы эти люди были так же умны, как и добродетельны, ибо если бы они были только умны без добродетельности, они бы могли заставить общественное дело служить их личным интересам, а если бы они были добродетельны, но не умны, они неизбежно провалили бы общественное дело, несмотря на все свои благие намерения. Итак, для того чтобы республика не погибла, необходимо, чтобы она обладала во все эпохи известным количеством людей такого рода; надо, чтобы на всем продолжении ее существования не прерывался последовательный ряд добродетельных и вместе с тем умных граждан.

Вот условие, которое реализуется не легко и не часто. В истории каждой страны эпохи, являющие значительное число выдающихся людей, отмечаются как эпохи необыкновенные, сияние которых проходит через века. Обычно в правящих сферах преобладает посредственность, серость, а часто, как мы это видим из истории, место этого цвета занимают черный и красный, т. е. торжествуют пороки и кровавое насилие. Мы могли бы отсюда заключить, что если бы действительно, как это явствует из теории так называемого рационального или либерального государства, сохранение и продолжительность существования всякого политического общества зависели от непрерывающейся последовательности замечательных как по уму, так и по добродетели людей, то из всех в настоящее время существующих обществ нет ни одного, которое не должно бы было уже давно погибнуть. Если мы к этой трудности, чтобы не сказать невозможности, добавим те, возникающие из совершенно особого развращающего воздействия власти, а также чрезвычайные искушения, которым неизбежно подвержены все люди, ею облеченные; добавим еще также воздействие честолюбия, соперничества, зависти и величайшего корыстолюбия, которые день и ночь осаждают именно самых высокопоставленных лиц и от соблазна которых не может спасти ни ум, ни даже добродетель — ибо добродетель отдельного человека хрупка, — то мы думаем, что мы вправе кричать о чуде при виде существования стольких обществ! Но оставим это.

Предположим, что в идеальном обществе в каждую эпоху есть достаточное число людей равно умных и добродетельных, которые могут достойно выполнять основные государственные функции. Но кто их будет искать, кто их найдет, кто их различит, кто вложит в их руки бразды правления? Или они сами их возьмут, в сознании соответственного ума и добродетели, подобно тому, как это сделали два греческих мудреца — Клеобул и Периандр, которым, несмотря на их предполагаемую великую мудрость, греки все же дали ненавистное имя тиранов? Но каким образом они захватят власть? Посредством убеждения или посредством силы? Если посредством убеждения, то заметим, что можно хорошо убеждать лишь в том, в чем сам убежден, и что именно лучшие люди бывают менее всего убеждены в своих собственных заслугах; даже если они сознают их, то им обычно претит навязывать себя другим, между тем как дурные и средние люди, всегда собою довольные, не испытывают никакого стеснения в самопрославлении. Но предположим, что желание служить своему отечеству заставило замолчать в истинно достойных людях эту чрезмерную скромность и они сами себя представляют своим согражданам для избрания. Будут ли они

всегда приняты народом и предпочтены честолюбивым, красноречивым и ловким интриганам? Если же, напротив, они хотят прийти к власти силой, то им необходимо прежде всего иметь в своем распоряжении достаточно силы, чтобы сломить сопротивление целой партии. Они придут к власти посредством гражданской войны, результатом которой будет побежденная, но не примирившаяся и всегда враждебная партия. Чтобы сдерживать ее, они должны будут продолжать применение силы. Таким образом, это будет уже не свободное общество, а основанное на насилии деспотическое общество, в котором вы, быть может, найдете много заслуживающих восхищения вещей, но никогда не найдете свободы.

Чтобы сохранить фикцию свободного государства, рожденного общественным договором, нам нужно предположить, что большинство граждан всегда обладают необходимыми благоразумием, прозорливостью и справедливостью, чтобы поставить во главе правительства самых достойных и самых способных людей. Но для того, чтобы народ проявлял прозорливость, справедливость, благоразумие не единожды и не случайно, а всегда, на всех выборах, в продолжение всего своего существования, не надо ли, чтобы он сам в своей массе достиг такой высокой степени нравственного развития и культуры, при которой правительство и государство ему больше не нужны? Такой народ нуждается не только в жизни, предоставляющей полную свободу всем его влечениям. Справедливость и общественный порядок возникнут сами по себе и естественно из его жизни, и государство, перестав быть провидением, опекуном, воспитателем, регулятором общества, отказавшись от всякой репрессивной власти и снизойдя до подчиненной роли, отведенной ему Прудоном, сделается простой канцелярией, своего рода центральной конторой на службе общества.

Без сомнения, такая политическая организация или, лучше сказать, такое уменьшение политической деятельности в пользу свободы общественной жизни было бы для общества великим благодеянием, хотя оно несколько не удовлетворило бы приверженцев государства. Им непременно нужно государство-провидение, государство-руководитель общественной жизни, податель справедливости и регулятор общественного порядка. Другими словами, признаются ли они себе в этом или нет, называют ли себя республиканцами, демократами или даже социалистами, им всегда нужно, чтобы управляемый народ был более или менее невежественным, несовершеннолетним, неспособным, или, называя вещи своими именами, чтобы народ был более или менее управляемым сбродом. С тем чтобы они, превозмогши в себе бескорыстие и скромность, могли оставаться на первых ролях, чтобы всегда иметь возможность посвятить себя общественному делу и чтобы, уверившись в своей добродетельной преданности и исключительном уме, эти привилегированные стражи людского стада, направляя его к его благу и спасению, могли бы также его понемногу обирать.

Всякая последовательная и искренняя теория государства основана главным образом на принципе авторитета, т. е. на той в высшей степени теологической, метафизической и политической идее, что массы, будучи всегда неспособными к самоуправлению, во всякое время должны пребывать под благотворным игом мудрости и справедливости, так или иначе навязанными им сверху. Но кем и во имя чего? Авторитет, который массы признают и которому подчиняются, как таковому, может иметь лишь три источника: силу, религию и воздействие высшего разума. Дальше мы будем говорить о государствах, основанных на двойной власти религии и силы, но, пока мы рассматриваем теорию государства,

основанного на свободном договоре, мы должны не принимать во внимание ни ту, ни другую. Пока что нам остается авторитет высшего разума, который, как известно, всегда составляет удел меньшинства.

И в самом деле, что мы наблюдаем во всех государствах прошлого и настоящего, даже если они наделены самыми демократическими институтами, как, например, Соединенные Штаты Северной Америки и Швейцария? Self-government масс, несмотря на весь аппарат народного всемогущества, является там по большей части только видимостью. В действительности правит меньшинство. В Соединенных Штатах вплоть до последней освободительной войны, а отчасти и теперь, например, вся партия нынешнего президента Джонсона — это были и есть так называемые демократы, при этом сторонники рабства и хищной олигархии плантаторов, демагоги без стыда и совести, готовые все принести в жертву своей корысти, своему низкому честолюбию. Своей отвратительной деятельностью и влиянием, которым они беспрепятственно обладали около пятидесяти лет кряду, они значительно способствовали извращению политических нравов Соединенных Штатов. В настоящее время истинно просвещенное, благородное меньшинство, но все же и опять-таки меньшинство, партия республиканцев, с успехом борется с пагубной политикой демократов. Будем надеяться, что оно полностью восторжествует, будем на это надеяться ради блага всего человечества; но сколь бы ни была велика искренность этой партии свободы, сколь бы ни были возвышенны и благородны провозглашаемые ею принципы, не следует уповать на то, что, достигнув власти, эта партия откажется от исключительного положения правящего меньшинства, чтобы слиться с народной массой и чтобы народное self-government стало, наконец, действительностью. Для этого понадобилась бы куда более глубокая революция, чем все те, которые до сих пор потрясали старый и новый мир.

В Швейцарии, несмотря на все совершившиеся здесь демократические революции, по-прежнему правит зажиточный класс, буржуазия, т. е. меньшинство, привилегированное в отношении имущества, досуга и образования. Суверенитет народа — слово, которое нам, впрочем, ненавистно, ибо всякая верховная власть, на наш взгляд, достойна ненависти, — самоуправление масс в Швейцарии тоже является фикцией. Народ суверенен по праву, но не на деле, ибо, вынуждено поглощенный ежедневной работой, не оставляющей ему никакого свободного времени, и, если не совершенно невежественный, то, во всяком случае, сильно уступающий в образовании буржуазному классу, он принужден отдать в руки буржуазии свой так называемый суверенитет. Единственная выгода, которую он из него извлекает, как в Соединенных Штатах Северной Америки, так и в Швейцарии, заключается в том, что честолюбивые меньшинства, политические классы, стремясь к власти, ухаживают за ним, льстя его мимолетным, иногда очень дурным страстям и чаще всего обманывая его.

Не надо думать, что мы подвергаем критике демократическое правительство в угоду монархии. Мы твердо убеждены, что самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия, ибо в республике бывает так, что народ, хотя он постоянно эксплуатируем, не угнетен, между тем как в монархиях он угнетен постоянно. И кроме того, демократический режим поднимает мало-помалу массы до общественной жизни, чего монархия никогда не делает. Но, отдавая предпочтение республике, — мы принуждены признать и провозгласить, что, какова бы ни была форма правления, все же, пока есть наследственное неравенство занятий, имущества, образования и прав,

человеческое общество останется разделенным на различные классы, а меньшинство будет править большинством и неизбежно его эксплуатировать.

Государство и является именно таким господством и эксплуатацией, возведенными в правило и систему. Попробуем это доказать, рассматривая последствия управления народными массами меньшинством, сколь угодно просвещенным и преданным, в идеальном государстве, основанном на свободном договоре.

После определения условий договора остается лишь применить их на практике. Предположим, что какой-то народ, достаточно мудрый, чтобы признать свою собственную несостоятельность, имеет еще и необходимую прозорливость, чтобы вверить управление общественными делами лишь самым лучшим гражданам. Эти избранные имеют привилегии не с точки зрения права, а лишь фактически. Они были выбраны народом потому, что они самые просвещенные, самые ловкие, самые мудрые, самые мужественные и самые преданные. Взятые из массы граждан, которые, по предположению, все между собой равны, они еще не образуют отдельный класс, а лишь группу людей, имеющих природные преимущества, а потому отмеченных народным избранием. Их число неизбежно весьма ограничено, ибо во всякой стране и во всякое время количество людей, одаренных столь выдающимися качествами, что они выдвигаются как будто сами собой при всеобщем уважении нации, бывает, как показывает опыт, весьма незначительным. Значит, под страхом сделать неверный выбор народ должен будет всегда избирать среди них своих правителей.

И вот общество уже разделено на две категории, чтобы не сказать на два класса, из которых один, состоящий из громадного большинства граждан, свободно подчиняется правлению своих избранных; другой, состоящий из незначительного числа даровитых натур, признанных таковыми и избранных народом, уполномочен управлять им. Завися от народного избрания, эти люди вначале отличаются от массы граждан только теми самыми качествами, которые снискали им доверие соотечественников, и являются среди всей массы граждан, естественно, самыми полезными и преданными. За ними еще не признаны никакие привилегии, никакое особенное право, за исключением права выполнять социальные функции, которые на них возложены, покуда этого желает народ. Во всем остальном — в образе жизни, условиях и средствах существования — они нисколько не отличаются от народа, так что между всеми продолжает царить полное равенство.

Но может ли это равенство долго сохраняться? Думаем, что нет, и нет ничего легче, как доказать это.

Нет ничего более опасного для личной морали человека, чем привычка повелевать. Самый лучший, самый просвещенный, бескорыстный, великодушный, чистый человек неизбежно испортится в этих условиях. Два присущих власти чувства всегда неизбежно ведут к этому разложению: презрение к народным массам и преувеличение своих собственных заслуг.

Массы, осознав свою неспособность к самоуправлению, выбрали меня в вожди. Тем самым они открыто признали свою неполноценность и мое превосходство. Из всей этой толпы людей, в которой лишь несколько человек я признаю равными себе, я один способен

управлять общественными делами. Народ во мне нуждается, он не может обойтись без моих услуг, между тем как я довольствуюсь самим собой. Значит, народ должен повиноваться мне ради собственного блага, и, снисходя до управления им, я делаю его счастливым. Не правда ли, есть от чего потерять голову и сердце и обезуметь от гордости? Таким образом, власть и привычка повелевать становятся даже для самых просвещенных и добродетельных людей источником интеллектуального и одновременно морального извращения.

Вся человеческая нравственность — немного ниже мы постараемся доказать абсолютную истину этого принципа, развитие, объяснение и самое широкое применение которого составляют главную цель этого сочинения, — всякая коллективная и индивидуальная мораль покоится главным образом на уважении к человеку. Что подразумеваем мы под уважением к человеку? — Признание человечности, человеческого права и человеческого достоинства в каждом человеке, каковы бы ни были его раса, цвет кожи, уровень развития его ума и даже нравственности. Но могу ли я уважать человека, если он глуп, злобен, достоин презрения? Конечно, если он обладает этими качествами, то невозможно, чтобы его подлость, тупоумие, грубость вызвали мое уважение; они мне противны и возмутительны; я приму против них, в случае надобности, самые энергичные меры, и даже убью этого человека, если у меня не останется других средств защитить мою жизнь, мое право или то, что мне дорого и мною уважаемо. Но во время самой решительной, ожесточенной и в случае необходимости смертельной борьбы с ним я должен уважать в нем его человеческую природу. Только этой ценой я могу сохранить свое собственное человеческое достоинство. Однако, если этот человек не признает ни в ком этого достоинства, можно ли признавать его в нем? Если он своего рода хищный зверь, если, как это иногда случается, хуже, чем зверь, можно ли признавать в нем человеческую природу, не будет ли это заблуждением? Нет, ибо каково бы ни было его теперешнее интеллектуальное и моральное падение, если органически он не является ни идиотом, ни безумным — в каких случаях с ним надо было бы обращаться не как с преступником, а как с больным, — если он вполне владеет своими чувствами и рассудком, отпущенными ему от природы, его человеческая натура, при всех ужасных отклонениях, тем не менее весьма реально существует в нем как всегда живущая, покуда он жив, способность возвыситься до сознания своей человечности — если только произойдет коренная перемена в социальных условиях, сделавших его тем, что он есть.

Возьмите самую умную, самую способную обезьяну, поместите ее в наилучшие, в наиболее человеческие условия — и все же вы никогда не сделаете из нее человека. Возьмите самого закоренелого преступника и самого бедного умом человека; если только ни в одном из них нет какого-нибудь органического дефекта, определяющего его идиотизм или неизлечимое безумие, то вы убедитесь, что если один сделался преступником, а другой еще не возвысился до сознания своей человечности и своих человеческих обязанностей, то виноваты, в этом не они сами, даже не их натура, а социальная среда, в которой они родились и развивались.

Мы подошли здесь к самому важному моменту социального вопроса и науки о человеке вообще. Мы уже неоднократно повторяли, что мы полностью отрицаем свободу воли в том смысле, какой приписывают этому слову теология, метафизика и юридическая наука, т. е. в смысле спонтанного самоопределения индивидуальной воли человека, независимо от всякого природного или социального влияния.

Мы отрицаем существование души, существование духовной субстанции, независимой и отделимой от тела. Напротив, мы утверждаем, что, подобно тому, как тело индивида, со всеми своими способностями и инстинктивными предрасположениями, является лишь равнодействующей всех общих и частных причин, определивших его индивидуальную организацию, — то, что неправильно называется душой человека, его интеллектуальные и моральные качества являются прямым производением или, лучше сказать, естественным, непосредственным выражением этой самой организации, а именно выражением уровня органического развития, которого благодаря стечению независимых от воли причин достиг его мозг.

Всякий, даже самый непритязательный индивид является продуктом веков; история причин, способствовавших его образованию, не имеет начала. Если бы мы имели дар, которым никто не обладает и не будет никогда обладать, — дар познать и объять бесконечное многообразие превращений материи, или Сущего, которые происходили с фатальной последовательностью от рождения нашего земного шара до рождения этого индивида, то мы могли бы, никогда его не видав, сказать с почти математической точностью, какова его органическая природа, определить до малейших подробностей меру и характер его интеллектуальных и моральных способностей — одним словом, его душу в том виде, какова она есть в час его рождения. Не имея возможности изучить и объять все эти последовательные трансформации, мы можем безошибочно утверждать, что всякий человеческий индивид в момент своего рождения является всецело продуктом исторического, т. е. физиологического и социального развития его расы, народа, касты — если в его стране существуют касты, — его семьи, его предков и индивидуальных особенностей его отца и матери, передавших ему непосредственно, путем физиологического наследования, в качестве его естественного исходного пункта и определения его индивидуальности все неизбежные следствия их собственного предшествующего существования как материального, так и морального, как индивидуального, так и социального, включая их мысли, чувства и поступки, включая все превратности их жизни и все большие или малые события, в которых они принимали участие, включая также бесконечное многообразие случайностей, которые могли с ними произойти^[11], вместе со всем тем, что они наследовали таким же образом от своих собственных родителей.

Нам нет надобности напоминать о том, чего никто и не думает отрицать, а именно, что различия рас, народов и даже классов и семей определяются причинами географическими, этнографическими, физиологическими, экономическими (включая два больших вопроса: вопрос о занятиях, т. е. о разделении коллективного труда общества, о способе распределения богатств; и вопрос о питании как в отношении количества, так и в отношении качества), а также причинами историческими, религиозными, философскими, юридическими, политическими и социальными. Все эти причины, комбинируясь различным образом для каждой расы, каждой нации и, более того, для каждой провинции и каждой коммуны, каждого класса, каждой семьи, придают всем им собственную физиономию, т. е. особый физиологический тип, сумму специальных предрасположений и способностей, — независимо от воли индивидов, входящих в их состав и всецело являющихся их продуктом.

Таким образом, каждый человеческий индивид уже в момент своего рождения является материальной, органической равнодействующей всего того бесконечного разнообразия причин, которые, скомбинировавшись, произвели его. Его душа, т. е. его органическое предрасположение к развитию чувств, идей и воли, является лишь продуктом. Она вполне определяется индивидуальным физиологическим качеством его мозговой и нервной системы, которая, как и все его тело, полностью зависит от более или менее удачного сочетания этих причин. Она составляет то, собственно, что мы называем отличительной, изначальной натурой индивида.

Существует столько же различных натур, сколько и индивидов. Эти индивидуальные различия проявляются тем яснее, чем более они развиваются или, лучше сказать, они не только проявляются с большей силой, они действительно увеличиваются по мере того, как развиваются индивиды, потому что различные вещи, внешние обстоятельства, одним словом, тысячи по большей части неуловимых причин, воздействующих на развитие индивидов, сами по себе весьма различны. Это обуславливает то, что чем более подвигается в жизни какой-нибудь индивид, тем более вырисовывается его индивидуальная натура, тем более он отличается как достоинствами, так и недостатками, от всех других индивидов.

В какой степени особая натура, или душа индивида, т. е. индивидуальные особенности мозгового и нервного устройства, развиты у новорожденного ребенка? Разрешение этого вопроса является делом физиологов. Мы знаем только, что все эти особенности обязательно должны быть наследственными в том смысле, который мы попытались объяснить, т. е. определенными бесконечным множеством самых различных, самых разнообразных причин, причин материальных и моральных, механических и физических, органических и духовных, исторических, географических, экономических и социальных, больших и малых, постоянных и случайных, непосредственных и очень отдаленных в пространстве и во времени, сумма которых комбинируется в единое живое Существо и индивидуализируется в первый и в последний раз в потоке универсальных трансформаций только в этом ребенке, который, в узком значении этого слова, никогда не имел и никогда не будет иметь себе подобного.

Остается узнать, до какой степени и в каком смысле эта индивидуальная натура действительно детерминирована в тот момент, когда ребенок выходит из чрева матери. Является ли эта детерминация только материальной или в то же время духовной и моральной, хотя бы в качестве тенденции естественной способности или инстинктивного предрасположения? Рождается ли ребенок умным или глупым, добрым или злым, наделенным волей или лишенным ее, предрасположенным к развитию того или иного таланта? Может ли он унаследовать характер, привычки, недостатки или интеллектуальные и моральные качества своих родителей и предков?

Вот вопросы, решить которые чрезвычайно сложно, и мы не думаем, чтобы экспериментальная физиология и экспериментальная психология были бы в настоящее время достаточно зрелыми и развитыми, чтобы суметь ответить на них с полным знанием дела. Наш славный соотечественник г. Сеченов говорит в своем замечательном труде о деятельности мозга, что в громадном большинстве случаев, 999/1000 частей психического характера индивида, конечно, более или менее заметны в человеке до самой его смерти. «Я не утверждаю, — говорит он, — чтобы можно было посредством воспитания переделать

дурака в умного человека. Это также невозможно, как дать слух индивиду, рожденному без акустического нерва. Я думаю лишь, что взяв с детства умного от природы негра, лапландца или самоеда, можно из них сделать при помощи европейского воспитания в самой среде европейского общества людей, очень мало отличающихся в психическом отношении от цивилизованного европейца».

Устанавливая это отношение между 999/1000 частями психического характера, принадлежащими, по его мнению, воспитанию, и только одной тысячной, оставляемой им на долю наследственности, г. Сеченов не имел в виду, конечно, исключений: гениальных и необыкновенно талантливых людей или идиотов и дураков. Он говорит лишь о громадном большинстве людей, одаренных обыкновенными или средними способностями. Они являются, с точки зрения социальной организации, самыми интересными, мы сказали бы даже, единственно интересными, ибо общество создано ими и для них, а не гениальными людьми и не для них одних, сколь безмерной ни казалась бы их сила.

В этом вопросе нас особенно интересует, могут ли подобно интеллектуальным способностям и моральные качества: доброта или злоба, храбрость или трусость, сила или слабость характера, великодушие или жадность, эгоизм или любовь к ближнему и другие положительные или отрицательные качества этого рода, быть физиологически унаследованы от родителей и предков или независимо от наследственности сформироваться под влиянием какой-либо случайной, известной или неизвестной причины в то время, когда ребенок находится еще в чреве матери. Одним словом, может ли ребенок при рождении уже иметь какие-либо моральные предрасположенности?

Мы так не думаем. Чтобы точнее поставить вопрос, заметим, во-первых, что если бы существование врожденных моральных качеств было допустимо, то это могло бы быть лишь при условии, что они были связаны в новорожденном ребенке с какой-нибудь физиологической, чисто материальной особенностью его организма: ребенок, выходя из чрева матери, не имеет еще ни души, ни разума, ни чувств, ни даже инстинктов; он рождается для всего этого; так что он является лишь физическим существом, и его способности и качества, если он их имеет, могут быть лишь анатомическими и физиологическими. Чтобы ребенок мог родиться добрым, великодушным, надо было бы чтобы каждое из этих достоинств или недостатков соответствовало какой-нибудь материальной и, так сказать, местной особенности его организма, а именно его мозга, — это вернуло бы нас к системе Галля, который думал, что он нашел для каждого качества и для каждого недостатка соответствующие шишки и впадины на черепе. Система эта, как известно, единогласно отвергнута современными физиологами.

Но если бы она оказалась верной, что бы отсюда вытекало? Раз недостатки и пороки, так же как и хорошие качества, врожденные, то оставалось бы узнать, могут ли они быть побеждены воспитанием или нет? В первом случае вина за все преступления, совершенные людьми, падала бы на общество, не сумевшее дать им надлежащее воспитание, а не на них, которых можно было бы рассматривать, наоборот, как жертвы социальной непредусмотрительности. Во втором случае, поскольку врожденные предрасположенности были бы признаны фатальными и непоправимыми, обществу не оставалось бы ничего другого, как избавиться от всех людей, имеющих какой-либо природный или врожденный порок. Но, дабы не впасть

в отвратительный порок лицемерия, общество должно было бы признать, что оно делает это единственно в интересах своего сохранения, а не ради справедливости.

Есть еще одно соображение, которое может прояснить этот вопрос: в мире интеллектуальном и моральном, так же как и в мире физическом, существует только положительное; отрицательное не существует, оно не составляет обособленное бытие, это лишь более или менее значительное уменьшение положительного. Так, например, холод есть лишь иное свойство тепла, это лишь относительное отсутствие, лишь незначительное уменьшение тепла! Так же обстоит дело с мраком, являющимся лишь светом, уменьшенным донельзя... Абсолютный мрак и абсолютный холод не существуют. В мире интеллектуальном глупость является не чем иным, как слабостью ума, а в нравственности недоброжелательство, жадность, трусость являются лишь доброжелательством, великодушием и храбростью, доведенными не до нуля, а до очень малого количества. Но, сколь ни мало это количество, все же это количество положительное, которое может быть развито, усилено и увеличено воспитанием в положительном смысле, — что было бы невозможно, если бы пороки или отрицательные качества являлись самостоятельными свойствами; тогда их надо было бы убивать, а не развивать, ибо развитие их могло бы в таком случае идти лишь в отрицательном направлении.

Наконец, не позволяя себе предрешать эти важные физиологические вопросы, относительно которых мы не скрываем своего полного невежества, добавим лишь, опираясь на единогласный авторитет всех современных физиологов, последнее соображение: кажется установленным и доказанным отсутствие в человеческом организме отдельных участков и органов для инстинктивных, эффективных или моральных и интеллектуальных способностей; все они вырабатываются в одной и той же части мозга посредством одного и того же нервного аппарата[12]. Отсюда ясно следует, что не может стоять вопрос о различных нравственных или безнравственных предрасположениях, фатально определенных самим организмом ребенка с наследственными и врожденными достоинствами и пороками, и что моральная врожденность ничем и ни в чем не отличается от интеллектуальной врожденности, ибо и та и другая сводятся к большей или меньшей степени совершенства, достигнутого вообще развитием мозга.

Вследствие этого пришлось отказаться от поисков в мозге органов для влечения и страстей и признать в нем лишь различного рода аффективные процессы, которые и надлежит определить.

Источником идей являются чувственные впечатления, источником чувств — впечатления инстинктивные. Назначением нервных клеток является превращение инстинктивных впечатлений в чувства. Проблема происхождения чувств в точности параллельна проблеме происхождения идей.

Этот род деятельности мозга осуществляется через инстинктивные впечатления двух типов: впечатления, которые принадлежат к инстинктам поддержания индивидуальной жизни, и те, которые принадлежат к инстинктам поддержания жизни вида. Первая категория здесь трансформируется в себялюбие, вторая — в любовь к другому, в первоначальной форме половой любви друг к другу, любви матери к ребенку и ребенка к

матери.

С этой точки зрения нелишне бросить взгляд на сравнительную физиологию. У рыб, стоящих в отношении развитости мозга на самой низшей ступени среди позвоночных и не знающих ни семьи, ни детенышей, инстинкт остается чисто половым. Но чувства, порождаемые им, начинают проявляться у многих млекопитающих и птиц; устанавливается настоящее сожителство, но по большей части оно временное. Так же точно обстоит дело с зарождением семьи, которая требует заботы родителей о детенышах и детенышей о родителях. Наконец, у иных животных, и между прочим у человека, между различными семьями образуются такого же рода отношения, как между членами одной и той же семьи; там и сям, в некоторых точках животного царства зарождается общественность.

«Если таким образом положен фундамент, то нетрудно понять, что из изначальных чувств, по мере того как существование усложняется как для индивида, так и для общества, образуются вторичные чувства и комбинации чувств, делающиеся столь же нераздельными, как нераздельны в интеллекте ассоциированные идеи» (стр. 357).

Итак, кажется, установлено, что в мозгу не существует специальных органов ни для различных интеллектуальных способностей, ни для различных моральных качеств, чувств и страстей, добрых или дурных. Следовательно, ни достоинства, ни недостатки не могут быть унаследованы, врожденны, ибо, как мы отметили, эта наследственность и врожденность может быть в новорожденном лишь физиологической, материальной. В чем же может заключаться постепенное исторически передаваемое совершенствование мозга как в интеллектуальном, так и в моральном отношении? Единственно в гармоническом развитии всей мозговой и нервной системы, т. е. как в верности, тонкости и живости нервных впечатлений, так и в способности мозга перерабатывать эти впечатления в чувства, в идеи и комбинировать, охватывать и удерживать все более и более широкие ассоциации чувств и идей.

Весьма вероятно, что если у какой-нибудь расы, нации, у какого-нибудь класса или в какой-нибудь семье, вследствие их отличительной природы, всегда обусловленной их географическим и экономическим положением, характером их занятий, количеством и качеством пищи, также как их политической и социальной организацией, одним словом, всей их жизнью и большей или меньшей степенью интеллектуального и морального развития, — что если, вследствие всех этих условий, одна или несколько систем органических функций, совокупность которых образует жизнь человеческого тела, будут развиты в ущерб всем другим системам в родителях, — весьма вероятно, почти несомненно, говорим мы, что их ребенок унаследует в той или иной степени ту же плачевную дисгармонию — с возможностью только исправить ее до некоторой степени благодаря своей собственной будущей работе над самим собой, а иногда также благодаря социальным революциям, без которых установление более полной гармонии в физиологическом развитии индивидов, взятых в отдельности, может быть часто невозможным.

Во всяком случае, надо сказать, что абсолютная гармония в развитии человеческих мускульных, инстинктивных, интеллектуальных и моральных способностей является идеалом, который никогда нельзя будет осуществить; во-первых, потому что история

физиологически тяготеет более или менее (и да придет время, когда можно будет сказать: все менее и менее) — над всеми народами и над всеми индивидами; и затем потому, что всякая семья и всякий народ всегда находятся в разных обстоятельствах и в различных условиях, по крайней мере некоторые из которых будут препятствовать полному и нормальному развитию людей.

Так что передаваемое наследственным путем из поколения в поколение и то, что может быть физиологически врожденным в индивидах, появляющихся на свет, — это не достоинства или недостатки, не идеи или ассоциации чувств и идей, а только лишь мускульный и нервный механизм, более или менее усовершенствованные и гармонизированные друг с другом органы, посредством которых человек движется, дышит, ощущает себя, получает и удерживает внешние впечатления и воображает, судит, комбинирует, ассоциирует и понимает чувства и идеи, являющиеся теми же самыми, как внешними, так и внутренними, впечатлениями, сгруппированными и трансформированными сначала в конкретные представления, затем в абстрактные понятия при помощи чисто физиологической и, добавим еще, совершенно произвольной деятельности мозга.

Ассоциации чувств и идей, развитие и последовательные трансформации которых составляют всю интеллектуальную и моральную часть истории человечества, не обуславливают образование в человеческом мозгу новых органов, соответствующих каждой отдельной ассоциации, и не могут быть переданы индивидам путем физиологической наследственности. То, что физиологически наследуется, — это все более и более усиленная, расширенная и усовершенствованная способность понимать их и создавать новые. Но сами ассоциации и представляющие их сложные идеи, как, например, идея Бога, отечества, нравственности и т. д., не могут быть врожденными и передаются индивидам лишь путем общественной традиции и воспитания. Они действуют на ребенка с первого дня его рождения, и так как они уже воплотились в окружающей его жизни, во всех как материальных, так и моральных деталях социального мира, в котором он родился, то и проникают тысячью различных способов в его вначале еще детское, затем отроческое и юношеское сознание, которое рождается, растет и формируется под их всецельным влиянием.

Понимая воспитание в самом широком смысле этого слова, подразумевая под ним не только образование и уроки нравственности, но также и главным образом пример, который подают ребенку все окружающие его лица, влияние всего того, что он слышит, что он видит, не только его духовную культуру, но также развитие его тела посредством питания, гигиены, физических упражнений, — мы утверждаем с полной уверенностью, что никто серьезно не будет возражать против того, что всякий ребенок, всякий подросток, всякий юноша и, наконец, всякий взрослый человек является всецело произведением мира, который вскормил его и воспитал, произведением фатальным, невольным и, следовательно, безответственным.

Человек приходит в жизнь без души, без сознания, без тени какой-нибудь идеи или чувства, но имея человеческий организм, индивидуальность которого определена бесконечным числом обстоятельств и условий, предшествовавших самому рождению воли; она же, в свою очередь, обуславливает большую или меньшую способность человека к восприятию и

присвоению чувств, идей и ассоциаций чувств и идей, выработанных веками и переданных каждому как общественное наследство при помощи полученного воспитания. Плохое это воспитание или хорошее, но оно дано человеку, и он не несет никакой ответственности за него. Оно формирует человека, насколько это позволяет более или менее восприимчивая индивидуальная натура последнего, так сказать, по своему образу, так что он думает, чувствует и желает то же самое, что хотят, чувствуют и думают все окружающие.

Но в таком случае нас могут спросить, как же объяснить, что одинаковое, по крайней мере внешне, воспитание часто приводит к совершенно различным результатам с точки зрения развития характера, ума и сердца? А разве не различны при рождении индивидуальные натуры? Это природное и врожденное различие, сколь оно ни мало, является, однако, положительным и реальным: различие в темпераменте, в жизненной энергии, в преобладании одного чувства, одной группы органических функций над другими, в живости и природных способностях. Мы постараемся доказать, что пороки, так же как и моральные качества, — факты индивидуального и общественного сознания и не могут быть физически унаследованы, что никакая физиологическая особенность не может обречь человека на зло, сделать его непоправимо неспособным к добру; но мы нисколько не хотим отрицать, что есть очень разные натуры, из которых одни, более одаренные, способны к большему человеческому развитию, чем другие. Мы считаем, правда, что в настоящее время излишне преувеличивают природные различия между индивидами и что наибольшую часть ныне существующих различий надо приписывать не столько природе, сколько воспитанию, полученному каждым. Для решения этого вопроса надо было бы, во всяком случае, чтобы две науки, призванные разрешить его, а именно: физиологическая психология, или наука о мозге, и педагогика, или наука о воспитании и социальном развитии мозга, — вышли из детского возраста, в котором они обе еще пребывают. Но из признания физиологического различия между индивидами следует, что любая система воспитания, сама по себе превосходная, будучи абстрактной системой, может быть хороша для одного человека и дурна для другого.

Для того чтобы быть совершенным, воспитание должно быть гораздо более индивидуализированным, чем теперь, должно быть индивидуализировано в духе свободы и уважения свободы, даже и у детей. Его задачей должна быть не дрессировка характера, ума и сердца, а их пробуждение к независимой и свободной деятельности. Оно не должно преследовать иной цели, кроме созидания свободы, не иметь другого культа или, лучше сказать, другой морали, другого объекта уважения, кроме свободы каждого и всех; кроме простой справедливости, не юридической, а человеческой; кроме простого разума, не теологического, не метафизического, а научного; кроме труда, физического и умственного, первой и обязательной для всех основы всякого достоинства, всякой свободы и права. Такое воспитание, широко распространенное на всех, как на мужчин, так и на женщин, при экономических и социальных отношениях, основанных на строгой справедливости, привело бы к исчезновению многих так называемых природных различий.

Нам могут возразить: хорошо, пусть современное воспитание несовершенно, но, во всяком случае, им одним нельзя объяснить тот неоспоримый факт, что часто в среде семейств, наиболее лишенных нравственного чувства, можно встретить личности, поражающие нас благородством своих инстинктов и чувств, и, напротив, в среде самых развитых в

нравственном и интеллектуальном отношении семей еще чаще встречаются индивиды, низменные умом и сердцем. Этот факт как будто бы совершенно противоречит мнению, согласно которому большая часть интеллектуальных и моральных качеств человека является результатом полученного им воспитания. Но это лишь видимое противоречие. В самом деле, хотя мы и утверждали, что в огромном большинстве случаев человек является всецело произведением социальных условий, в которых он формируется; хотя мы и оставили сравнительно малую долю влияния физиологической наследственности естественных качеств, с которыми рождается человек, тем не менее, мы не отрицали этого влияния. Мы признали даже, что в некоторых исключительных случаях, например, у людей гениальных или очень талантливых, как и у идиотов и людей нравственно очень испорченных, это влияние или природная детерминация развития индивида — детерминация столь же фатальная, как и влияние воспитания и общества, — может быть очень велика. Последнее слово по всем вопросам принадлежит физиологии мозга, а она еще не достигла той степени развития, чтобы быть в состоянии в настоящее время разрешить их даже приблизительно. Единственное, что мы можем сегодня с уверенностью утверждать, это то, что все эти вопросы бьются между двумя фатализмами: фатализмом естественным, органическим, физиологически наследственным и фатализмом общественной наследственности и традиции, воспитания и социально-политического и экономического устройства каждой страны. Здесь нет места для свободной воли.

Но помимо естественной, положительной или отрицательной детерминации индивида, которая может поставить его в большее или меньшее противоречие с духом, царящим в семье, могут существовать для каждого отдельного случая еще другие тайные причины, которые в большинстве случаев так и остаются неизвестными, но которые должны быть нами приняты, тем не менее, в расчет. Стечение особых обстоятельств, неожиданное событие, иногда даже очень незначительный, сам по себе, случай, случайная встреча какого-нибудь человека, иногда книга, попавшая в руки данного индивида в надлежащий момент, — все это в ребенке, в подростке, в юноше, когда воображение кипит и еще полностью открыто для жизненных впечатлений, для жизни, может произвести коренной переворот как к добру, так и ко злу. Добавьте к этому характерную для молодости гибкость, в особенности когда молодые люди одарены известной естественной энергией, которая заставляет их противиться всем излишне повелительным и настойчиво-деспотичным влияниям и благодаря которой иногда даже избыток зла может породить добро.

Может ли в свою очередь избыток добра или то, что обычно называется добром, породить зло? Да, когда добро выступает как деспотический, абсолютный закон, религиозный, доктринерски-философский, политический, юридический, социальный или как закон семейно-патриархальный, — одним словом, когда, каким бы хорошим оно ни было или ни казалось, оно предписывается как отрицание свободы, а не является ее продуктом. Но в таком случае бунт против добра, навязываемого таким образом, является не только естественным, но и законным; этот бунт не только не зло, а, напротив, добро; ибо не существует добра вне свободы, а свобода является источником и абсолютным условием всякого добра, которое поистине достойно этого слова, ведь добро есть не что иное, как свобода.

Единственной целью этой статьи является развитие и доказательство этой истины, которая нам представляется такой простой. Возвратимся теперь к нашему вопросу.

Примеры того же явного противоречия или аномалии часто встречаются в более широкой сфере, в истории народов. Например, как объяснить, что еврейский народ, бывший некогда самым ограниченным и исключительным народом на свете, до того исключительным и ограниченным, что, признавая, так сказать, абсолютную привилегированность, божественное избрание главным основанием своего национального существования, он выставлял себя богоизбранным народом, вплоть до фантазии, будто его Бог, Иегова, Бог-отец христиан, доводит свою попечительность о еврейском народе до самой дикой жестокости ко всем другим народам, приказывая еврейскому народу уничтожить огнем и мечом все племена, занимавшие раньше землю обетованную, для того чтобы очистить место для своего народа-Мессии; как объяснить, что в среде этого народа мог родиться Иисус Христос, основатель вселенской, мировой религии и тем самым разрушитель самой еврейской нации как политического и социального тела? Каким образом этот исключительно национальный мир мог породить такого преобразователя, религиозного революционера, каким является апостол...

[1] Славный итальянский патриот Джузеппе Мадзини, чей республиканский идеал не что иное, как французская республика 1793 года, исправленная в духе поэтических традиций Данте и властолюбивых воспоминаний о властелине земли Рима, потом пересмотренная и исправленная с точки зрения новой теологии, наполовину рациональной и наполовину мистичной, — этот замечательный патриот, честолюбивый, страстный и всегда исключительный, несмотря на все его усилия подняться до уровня международной справедливости, патриот, который всегда предпочитал величие и могущество своего отечества его благополучию и свободе, — Мадзини был всегда яростным противником автономии провинций, которая естественно нарушала бы строгое единообразие великого итальянского государства. Он утверждает, что для противовеса могуществу прочно устроенной республики достаточна автономия коммун. Он ошибается: ни одна коммуна, взятая в отдельности, не сможет противостоять могуществу столь сильной централизации, она будет ею раздавлена. Чтобы не пасть в этой борьбе, она должна была бы для общей самозащиты вступить в федерацию с соседними коммунами, т. е. она должна была бы образовать вместе с ними автономную провинцию. Кроме того, раз провинции не будут автономны, управлять ими надо будет ставленникам государства. Нет середины между строго последовательным федерализмом и бюрократическим режимом. Отсюда вытекает, что республика, к которой стремится Мадзини, была бы государством бюрократическим и, следовательно, военным, основанным в целях внешнего могущества, а не международной справедливости и внутренней свободы. В 1793 году, при режиме Террора, коммуны Франции были признаны автономными, что не помешало им быть раздавленными революционным деспотизмом Конвента или, лучше сказать, Парижской Коммуны, естественным наследником которой явился Наполеон.

[2] Как известно, в Америке приверженцы интересов Юга против Севера, т. е. рабства против освобождения рабов, называют себя демократами.

[3] Привилегированные?

[4] Даже за неимением имущества это буржуазное образование при той солидарности, которая связывает всех членов буржуазного мира, обеспечивает получившему его громадную привилегию в вознаграждении за труд — ибо труд самого посредственного буржуа оплачивается в три, в четыре раза дороже, чем труд самого умного рабочего.

[5] В этом отношении юридическая наука подобна теологии: одна исходит из реального, но несправедливого факта присвоения силой, завоевания; другая — из факта фиктивного и нелепого, божественного откровения как высшего принципа. Основываясь на этой абсурдности или на этой несправедливости, обе науки прибегают к самой строгой логике, чтобы построить, с одной стороны, теологическую, с другой — юридическую систему.

[6] Сказать, что Бог не против логики, значит утверждать, что он совершенно идентичен ей, что он сам — не что иное, как логика, т. е. естественный ход и развитие реальных вещей, иначе говоря, что Бога нет. Существование Бога может иметь значение лишь как отрицание естественных законов, отсюда эта неопровержимая дилемма: Бог существует, значит нет естественных законов и мир представляет собой хаос. Мир не есть хаос, он упорядочен сам по себе — значит, Бога нет.

[7] Так и всякий человеческий индивид есть не что иное, как равнодействующая всех причин, предшествовавших его появлению на свет, комбинированных со всеми условиями его дальнейшего развития.

[8] Никогда нелишне повторять это многим приверженцам современного натурализма или материализма, которые — ввиду того, что человек в наши дни обнаружил свое полное родство со всеми другими видами животных и свое непосредственное и земное происхождение, ввиду того, что он отказался от нелепых и пустых претензий спиритуализма, который под предлогом дарования ему абсолютной свободы приговаривал его к вечному рабству, — воображают, что это дает им право отбросить всякое уважение к человеку. Этим людей можно сравнить с лакеями, которые, открыв плебейское происхождение человека, заставившего себя уважать своими личными достоинствами, считают себя вправе относиться к нему как к равному по той простой причине, что в их представлении не существует другого достоинства, кроме аристократического происхождения. Иные же настолько счастливы открытием родства человека с гориллой, что хотели бы навсегда сохранить его в состоянии животного, отказываясь понять, что все историческое назначение, все достоинство и свобода человека заключаются в удалении от этого состояния.

[9] Подобные отношения, которые, впрочем, никогда не могли существовать между первобытными людьми, ибо социальная жизнь предшествовала пробуждению индивидуального сознания и сознательной воле, а также потому, что вне общества ни один человеческий индивид никогда не мог пользоваться ни абсолютной, ни даже относительной свободой, — подобные отношения, говорим мы, совершенно тождественны с теми, которые

существуют в настоящее время между современными государствами, каждое из которых считает себя облеченным свободой власти и абсолютным правом в отличие от всех других. Поэтому оно оказывает всем другим государствам лишь то внимание, которого требует его собственный интерес, и все они неизбежно находятся в постоянном состоянии скрытой или открытой войны.

[10] Это идеал Мадзини: «Мы верим, что Высшая Власть свята, когда, освященная гением и добродетелью, этими единственными священнослужителями будущего, и явившая в себе великую жертвенную силу, она проповедует добро и, добровольно признанная, ведет к нему видимым образом...»

[11] Случайности, которым подвержен эмбрион во время своего развития в чреве матери, прекрасно объясняют различие, чаще всего существующее между детьми одних родителей, и делают для нас понятным, каким образом у умных родителей может быть дитя-идиот. Но это всегда лишь печальное исключение вследствие какой-либо случайной мимолетной причины. Природа, благодаря несуществованию благого Бога, никогда не бывая капризной и ничего не делая без достаточной на то причины, никогда не меняет тенденцию или направление, не будучи принуждаемой к этому превосходящей ее силой. Таким образом, правило воспроизводства человеческого рода путем последовательности пар, образующих семью, должно быть таким: если бы каждая пара прибавляла к физиологическому наследству своих родителей новое физическое, интеллектуальное и моральное развитие, то — так как всякое идеальное совершенствование есть материальное совершенствование, идущее от мозга, — каждое вновь рождающееся существо должно бы быть во всех отношениях выше своих родителей.

[12] Смотрите замечательную статью г. Литтре: «О методе в психологии» в журнале «Позитивная философия». Физиологически установлено, говорит знаменитый позитивист, что мозг ничего не создает; он лишь воспринимает. Его функции заключаются в превращении того, что ему передается (чувствами) в эмоции и идеи; но сам он не привносит своего в то, что составляет субстрат этих идей и этих чувств. По правде сказать, все приходит к нему извне, ибо органические предрасположения, без которых нет ни индивидуальной, ни коллективной жизни и без которых не было бы и чувства, являются столь внешними (для человека), что природа осуществляет их независимо от всякого мозга и всякой психики в растениях и, в особенности, в низших животных. Поэтому следует слегка изменить смысл слова субъективное. Субъективное не может означать ничего предшествующего развитию человека: я, идею, чувство, идеал. Оно может означать лишь перерабатывающую способность нервных клеток; во всем остальном субъективное всегда смешано с объективным (№ III, стр. 302). А на стр. 343 — 344 г. Литтре говорит еще: «Рассудок не является способностью, витающей над принесенными ему впечатлениями; его единственное дело (чисто физиологическое) состоит в сравнении их между собой для получения заключения; но он не имеет над ними никакой юрисдикции. Галлюцинации доказывают это; галлюцинации — это производство впечатлений, не вызванных ничем объективным. В силу болезненной игры нервных клеток, передающих впечатления, иллюзорные впечатления поступают в интеллектуальный центр («серое вещество оболочки той части мозга, которая занимает всю верхнюю и переднюю часть черепной полости, или мозга в собственном смысле»), как будто бы они были реальные. Рассудок, воспринимая их,

по необходимости работает над фиктивным материалом, и вот являются воображаемые представления. Кроме того, за исключением патологического нарушения, совершенно подобное же доказательство доставляется нам развитием человеческих идей в истории. В начале наблюдения — за исключением самых простых — ошибочны, а вслед за ними ошибочны и суждения. Люди видят, что солнце встает на востоке и заходит на западе; основываясь на этом, рассудок строит неверную концепцию, которую он впоследствии исправляет лишь благодаря лучшим наблюдениям. Если бы рассудок был первичным, а не вторичным, то человеческая история была бы иной (человечество не имело бы предком двоюродного брата гориллы): вначале были бы великие истины, из которых были бы выведены второстепенные истины; такова фактически теологическая гипотеза...». Г. Литтре мог бы добавить: а также метафизическая и юридическая.

«Раз признаны анатомические и физиологические свойства ума, — говорит г. Литтре (стр. 355), — то можно проникнуть в самую глубь его истории. Покуда ум не был перестроен и обогащен цивилизацией, обладал лишь простыми идеями [мы сказали бы — «первичными понятиями» или даже «простыми представлениями предметов»], производимыми как внутренними, так и внешними [чувственные впечатления, получаемые индивидом посредством его нервов от внешних и внутренних предметов] впечатлениями, он находился, таким образом, на низшей ступени развития; для того, чтобы подняться выше, ум обладает лишь способностью удерживания и ассоциации [удержание простых идей памятью и ассоциация их деятельностью мозга], но этого достаточно. Постепенно образуются сложные комбинации, увеличивающие силу и поле деятельности мозга [посредством ассоциации простых идей]; наконец, подвигаясь вперед, человек приходит к великим интеллектуальным свершениям. Умственный аппарат увеличивается и совершенствуется, а без инструментария нельзя сделать ничего значительного ни в интеллектуальной области, ни в промышленности».

«По мере того как совершается это развитие, оно призывает себе на помощь важное свойство жизни, а именно наследственность, которая способствует закреплению его в настоящем и облегчению в будущем. Новые умственные способности, будучи раз приобретенными, передаются — это экспериментальный факт — потомкам в форме врожденных черт; врожденности вторичной, третичной, которая в умственной области создает своего рода улучшенные человеческие расы. Это заметно, когда встречаются народности, прошедшие через разное развитие; низшая исчезает или через длительный промежуток времени достигает уровня высшей».

Ниже, процитировав слова г. Льюиса: «Мозговая сфера, где царят аффективные страсти, как и та, где находятся чисто интеллектуальные проявления, тесно взаимосвязаны», г. Литтре добавляет: «Это совершенное подобие между интеллектом и чувством, а именно источником, откуда черпают нервы [Источником, откуда нервы черпают как чувственные, так и инстинктивные впечатления, *sensum commune*, является, по мнению г. Литтре и г. Льюиса, оптический слой, где сходятся все, как внешние, так и внутренние, впечатления, т. е. произведенные внешними предметами или же явившиеся из внутренних тканей организма, который «системой волокон и соединений передает эти впечатления коре головного мозга (серому веществу) — центру как аффективных, так и интеллектуальных способностей» (стр. 340 — 341).], и центром, где почерпнутое ими перерабатывается [Серое вещество мозга в собственном смысле, состоящее из нервных клеток: «Установлено, что

нервные клетки, составляющие вещество мозга, являясь анатомически окончанием нервов и через них завершением всех внутренних впечатлений, функционально предназначены для переработки этих впечатлений в идеи; получив идеи — для суждения об их сходстве или различии, для удержания памятью, для соединения по ассоциации. Не более и не менее. Все интеллектуальное развитие человека имеет своим исходным пунктом эти анатомические и физиологические условия» (стр. 352).], с учетом тождественности обоих центров, все это указывает на то, что физиология чувства не может разниться от физиологии интеллекта».

Версия #1

StepanSkazin создал 31 марта 2025 18:35:53

StepanSkazin обновил 31 марта 2025 18:36:37